СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ



Рассказы русских писателей

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА»

Светлый праздник Пасхи. Рассказы русских писателей

Александр Иванович Куприн, Леонид Николаевич Андреев, Саша Чёрный, Николай Петрович Вагнер, Антон Павлович Чехов, Николай Александрович Лейкин, Надежда Тэффи, Игнатий Николаевич Потапенко, Иван Алексеевич Бунин, Николай Александрович Колосов, Андрей Дмитриевич Степанов

Аннотация
Светлый праздник Пасхи. Рассказы русских писателей
Николай Лейкин
- В толпе
- Паутинные дни
- Должников разыскал
- Два игрока

Антон Чехов
- На Страстной неделе
- Письмо

Казак
Студент
Иван Бунин
На чужой стороне
Лирник Родион
Последняя весна
Николай Вагнер
Яичко. (Педагогический рассказ)
Леха и Ксютка. (Рассказ)
Игнатий Потапенко
Смоляные бочки
Третейский суд
Леонид Андреев
Баргамот и Гараська
В Сабурове
Гостинец
Александр Куприн
По заказу
Леночка
Пасхальные яйца
Московская Пасха
Николай Колосов
Не может быть!
Тэффи
Светлый праздник
Пасхальные советы молодым хозяйкам

Саша Черный

Сырная пасха. (Рассказ эмигранта)

Пасхальный визит

Аннотация

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, – самый главный христианский праздник, который отмечают во всем мире. Это праздник света и добра, символизирующий победу жизни над смертью и напоминающий о Воскрешении Иисуса Христа. Пасха имеет большое значение для русской культуры, именно в России сложилась уникальная традиция пасхального рассказа: его главные сюжеты – любовь и милосердие, всепрощение, духовное преображение, путь к Богу. К жанру пасхального рассказа обращались многие писатели, в том числе классики литературы конца XIX – начала XX века, чьи произведения объединены в этом издании. Рассказы Н. А. Лейкина, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Л. Н. Андреева, А. И. Куприна и др. позволяют ощутить теплую, проникнутую любовью к ближнему атмосферу светлого праздника и узнать, как он отмечался по всей России.

Некоторые рассказы, вошедшие в сборник, воспроизводятся по дореволюционным ис-

точникам впервые. В оформлении книги использованы старинные открытки и иллюстрации из периодической печати XIX – начала XX века. Издание адресовано самому широкому кругу читателей и станет прекрасным подарком к светлому празднику Пасхи.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.



Светлый праздник Пасхи. Рассказы русских писателей

Подбор иллюстраций Екатерины Мишиной

Составление и подготовка текста Андрея Степанова

В оформлении книги использованы старинные открытки и иллюстрации из периодической печати XIX — начала XX века, а также иллюстрации @Shutterstock/fotodom/

© А. Д. Степанов, составление, 2026
© ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

Николай Лейкин

В толпе

Четверг Вербной недели. На галереях Гостиного двора, мимо выставленных столиков с разным мелким товаром движется нераздельная лента пестрой толпы народа. Разумеется, толкотня, давка.

Протискивается жирный купец с красным лицом и ведет за собой двух маленьких сынишек в длинных «пальтах», шитых на рост, взрослую дочку и жену. Жена замыкает шествие. Все идут гуськом и перекликаются друг с другом. Впереди купца пожилая дама с девочкой и то и дело грозно оглядывается на купца.

— Послушайте, это уж ни на что не похоже! Вы мне все платье оборвали! — восклицает она.

— А вы, сударыня, хвост-то укоротили бы, коли в публику пришли, — отвечает купец. — Фиона Максимовна, ты чего по сторонам зеваешь? — оглядывается он на жену. — Ты не отставай! Прилипай ближе, а то так ототрут, что и потеряться можешь. Главное — напирай. Чего тут церемониться!

— Да я напираю, — говорит жена. — А меня вот сейчас кто-то за ногу ущипнул, так, думаю, не

мазурик ли в карман лез.

— Однако это уж слишком! Вы мне кулаками в спину упираетесь, — опять обращается дама к купцу.

— А вы зачем под ногами вертитесь? Кто хочет вербное удовольствие приять, тот должен и сам напирать да и хвост-то дома оставить. Галдарею мести нечего. Ее и без вашего хвоста сторожа метлами метут.

— Это уж невежество!

— Когда вежество-то по домам разносили, нас дома не было, — огрызается купец. — В толпе впору на ногах стоять, а не об вежестве думать. Я вам в спину уперся, а вы обернитесь да упритесь мне в грудь — слова не скажу.

— Боюсь руки замарать. Послушайте, ежели вы не прекратите ваши безобразия, я обращусь к защите публики. Как же вы чихаете над самым моим ухом!

— Да что ж делать, коли чихнуть захотелось? Засвербит в носу, так не удержишься.

— Тогда отвернитесь.

— Отвернусь, так кому-нибудь брызгами в лицо попаду. А вам все-таки в затылок… Ну, вся беда, что цветы на шляпке смокнут. Петрушка, не отставай! Держись за отцовские карманы. Во-

первых, платок мой от какого-нибудь банкового кассира убережешь, а во-вторых, и самого тебя не раздавят. Отец твой яко дуб стоит, а ты тростинка тоненькая! — кричит купец сыну.

— Поставьте вы хоть мальчика-то впереди себя.

— Нельзя, сударыня. Мальчик у вас кисти на бурнусе теребить начнет, потому ему соблазн… Да и порешили уж мы так идти, чтоб я впереди, жена сзади, а ребятишки в середине шли. Сеничка! А ты Петрушку за шиворот держи. Вот и будет неразрывная цепь. Ну что? Осмотрели все финтифлюшки? Чего вам покупать на вербах? — обращается купец к детям.



— Пойдемте дальше, папенька, там, может быть, будет еще что-нибудь почудеснее, — говорит дочь.

— Пойдем дальше. Но главное — при покупке из ассигновки не выходить. Есть вам из моего карманного банка ассигновка пять рублей на всех, и уж больше с текущего счета из-за голенища ничего не прибавлю. Чек в пять рублей на

всю братию.

— Купите Амура мне на комод да два розана.

— Раненько еще об Амурах-то помышлять. Изволь, Амура куплю, но только в придачу к нему не два розана, а гуттаперчевый хлыст. Хочешь?

— Тише вы… Как вам не стыдно. Оконфузили совсем! — шепчет дочка. — Вон сзади два офицера идут и смеются.

— Еще бы: ты, дура, улыбки им строишь, так за неволю они смеются, — говорит мать. — Иди, иди, не оглядывайся!

— Что вы меня в загорбок-то, маменька, тычете! Это уж совсем не благородно!

— А ты мужчин за собой не приваживай! Еще за шиньон буду дергать, а не токма что в загорбок.

— Ах боже мой, вот конфуз-то! И зачем я пошла с родительскими извергами! — горячится дочь. — Где же я приваживаю, коли они сами сказали «пардон»? Должна же я улыбнуться в ответ. Тут деликатная образованность, и больше ничего. Они первые начали, а не я. Завсегда при публике заставите со стыда гореть!

— Сама-то ты гори сколько хочешь, только нас не подожги, — острит купец на слова дочери.

— Послушайте, идите вы вперед, а я сзади вас пойду! — восклицает дама. — Иначе я от ваших

ног домой не в платье приду, а в отрепьях.

— Мы, сударыня, своей семейной жилой идем и посторонних лиц в середину не пускаем, — отвечает купец.

— Да не могу же я, ежели вы над самым моим ухом сопите!

— Что ж делать, коли нос залег. Третьего дня сходил в баню и насморк схватил. А вы, сударыня, потерпите. В толпе все должны друг друга тяготы носить. Да и зачем вы у меня под ногами вертитесь? Пролезайте вперед.

— Куда же я полезу, ежели впереди меня целая стена спин?

— Ну так уж — ау, брат, ничего не поделаешь! Иначе нужно дома сидеть, ежели на тесноту жаловаться. А то погода прекрасная, и прогуляться по вербам каждому лестно.

— Вот навязался спутник! — переругивается дама.

— Да уж и спутница тоже хороша! Черту подарить, да незнакомому, чтоб назад не принес, — не отстает купец и, оборотясь к дочери, кричит: — Грушенька! Эво какое пряничное сердце продается! Купить, что ли, тебе в суприз?

— Я не девчонка, чтоб меня пряничными сердцами потешать! — огрызается та.

— Дура, да может, это сердце мужское, так зачем пренебрегать? А посмотри, пламя-то как из него пышет! Господин пряничный коммерсант, почем сердца-то продаете? — спрашивает он торговца.

— С кого три гривенника фунт, а с вас четвертак! — раскланивается продавец. — Купите, ваше степенство, парочку… Товар свежий, теплый. Сейчас только еще мальчишка из куреня принес.

— Да это какое сердце-то? мужское или женское? — останавливается купец.

— Самое что ни на есть гусарское на казацкий манер.

— Ежели вы мне сердце купите, я его все равно брошу! — говорит дочь.



Продажа вервъ, у Гостинаго Двора, 1853 года, въ С.Петербургѣ.

— А коли бросишь, то я тебе палку куплю! Почем пряничная палка?

— Батон-с? Батоны по восьмнадцати копеек фунт. Медовые-с… Пистолеты в той же цене.

— А ты по пятиалтынному возьми и отвесь нам пяток пистолетов.

— Свою цену даете, да уж Бог с вами!

— Я и пистолета не возьму, — не унимается дочь.

— Отчего же? Авось кавалера по дороге подстрелишь.

— Да уж и так наказание! — говорит мать. — Ты вот смотри: мы остановились — и кавалеры ейные с нами. Ну что за охальники! Вы чего, господа? что вам? — обращается она к каким-то двум франтам.

— Ах боже мой! Да неужели и смотреть нельзя? — слышится у тех.

— Маменька, Бога ради!.. — дергает мать за рукав дочь. — Один из них подрядчицкий сын, и я с ним на свадьбе у Жилиных две кадрили танцевала. Ежели он мне поклонился, то не могу же я ему вместо учтивости язык выставить.

— Танцевала на свадьбе, а чего ж он теперь буркулы пялит?

— Ах, срам какой! Другие бы рады были, что на физиономию их дочери любуются, а вы…

Дама, шедшая впереди купца, опять встретилась рядом с ним около столика продавца.

— Еще раз здравствуйте! — кланяется ей купец. — Говорите, что я вам в спутники навязался, а сами за мной как нитка за иголкой. Нет, уж верно, Бог нас связал.

— Я, сударь, для ребенка. Должна же я девочке сластей купить.

— Так неужто другого-то прянишника впереди нет? Нет, сударыня, я в ваше головное соображение как раз в центру попаду. Теперича вы думаете так: хотя купец хвост у моего платья и оторвал, хотя и чихнул на меня, но все-таки он человек обстоятельный, а не мазурик, и ежели идет у меня по пятам, то карманы мои от мазуриков охраняет, значит, мне с ним расставаться не след. Верно?

Дама улыбается.

— Да уж верно! — прибавляет купец. — У нас эта умственная-то пронзительность есть! Примите от нас в презент вашей девочке пряничного петуха и заключимте мировую! — говорит купец и протягивает девочке пряник.

1881



Паутинные дни

Четверг Страстной недели. Полдень. В трактир средней руки входит гладкобритый мужчина пожилых лет с орденской бутоньеркой в петлице, поправляет очки на носу и, подойдя к стойке буфетчика, говорит:

— Налейте рюмку водки большого калибра.

— Это в Страстной-то четверг рюмочный калибр увеличивать! Прекрасно! Ай да Иван Иваныч! — приветствует его сидящий за бутылкой пива красноносый человек с косматыми бакенбардами во всю щеку и спрашивает: — Какими судьбами? Ведь сегодня целый день делами дома заниматься хотел.

— И действительно хотел, братец ты мой, потому дел пропасть, но что ж ты поделаешь, коли жена не дала. Вот оттого с досады и увеличиваю калибр, — отвечал гладкобритый и протянул руку красноносому.

— Из дома выгнали?

— Выгнали. То есть это истинное наказание! С самого раннего утра все бабы в доме словно с ума сошли: бегают с мочалками, с тряпками, трут, моют, чистят, выколачивают, проветривают. Всю

квартиру выстудили отворенными окнами.

— Чистоту наводят перед праздниками? Это уж завсегда так. И у меня то же самое. Сегодня поутру как начали выколачивать камышовками зорю по мебели, так что твой взвод барабанщиков! Жена сегодня ни об чем и разговаривать не может, как только об паутине да об пыли.

Гладкобритый проглотил рюмку водки, поморщился и сказал:

— Но я одного не понимаю: отчего чистота нужна только перед праздником, а не в остальное время? Отчего в остальное время надо сидеть в грязи по уши, а перед праздником чиститься?

— А оттого, господин, что праздник светлый, — откликнулся наливавшийся чаем бородатый купец. — Перед праздником всякая тварь облизывается, а домашняя баба, известно, рада; ей дай только пополоскаться. Ну и перед мужем выслужиться хочет, чтоб подарочек поинтереснее получить. У меня сегодня дома еще хуже инструкция. Даже стряпни нет. Жена такие слова: «Иди, — говорит, — ты, Амос Вавилыч, на все четыре стороны и ешь что хочешь, потому мы сухоедением питаться будем». И точно, гляжу — баранки жует. Делать нечего, пошел по хмельным палестинам скитаться да солянки хлебать.

— Вы — дело другое. У вас лавка есть, где можете приткнуться, а мне дома нужно было деловые бумаги писать.

— Лавка моя, господин, в мусорных койках свой сюжет имеет, так как мы подрядные дела по очищению мусора ведем, так на койке не велик скус приткнуться. И хотя это самое амбре нам деньги дает, но тоже нюхать-то его перед праздниками невесело. Значит, мы с вами вровень. Сегодня я дома тоже хотел на счетах пощелкать, но никакой булгактерии не вышло из-за этой самой паутины, а только меланхолия.

— Именно меланхолия-с, выражаясь по-вашему, — поддакнул гладкобритый. — Кроткий я человек, а сегодня чуть не перекусал всех домашних — вот до какого бешенства меня довели! Только присел к письменному столу, входит жена. «Ты, — говорит, — сиди, я тебе не помешаю, а только легонечко по потолку да по стенам щеткой пройдусь». Гляжу — над головой моей половая щетка с тряпкой гуляет. Стиснул зубы — молчу. Вдруг сверху тряпка трах — и на бумагу. Все, что написал, то и размазали. Ругался-ругался, убежал в другую комнату и сел к подоконнику. Поломойка с тазом идет. «Вы бы, барин, ушли бы отселева, потому надо стекла перетереть». Послал

к черту. Жена заступилась за нее и уж ругать начала. А свояченица стоит на коленях перед диваном и двумя камышовками мелкую дробь выколачивает. Пыль столбом. В горле засаднило, чихать начал. «Ах ты господи! — думаю. — Вырву-ка я у ней эти камышовки да брошу в печь». Подкрался к ней сзади и только хотел схватить ее за руки, а она как хватит меня камышовкой, да по очкам... И вот стекло разбила. Конечно, невзначай, но тут я в такую ярость пришел, что схватил чернильницу и вылил ее ей на голову. «Чисться же и сама, коли уж ежели такая ревность к чищенью пришла!» А сам схватил шапку, накинул пальто и сюда. Нацедите-ка мне еще рюмку водки такого же калибра, — обратился гладкобритый к буфетчику.


1862
Христос воскресе!
Воистину воскресе!

— Да-с, это действительно… Во время обметания пыли к бабе не суйся. Тут она что твоя тигра, — сказал купец. — Хорошо еще, что только очки разбила, а могла и узор на лике изобразить.

— Да и то изобразила легонький рисуночек над глазом, — проговорил красноносый, вглядываясь в физиономию гладкобритого.

— Что ты! Неужели? — воскликнул тот и бросился к зеркалу. — Ах боже мой! И в самом деле рубец! А я давеча сгоряча-то и не почувствовал. И припухлость, и царапина, и синяк. Вот мерзость-то! Ну как я буду в Пасху с генералом христосоваться? А он у нас такой подозрительный, сейчас скажет: «Пьян был». Каково это будет за свою ревность-то к делу претерпеть! Не сядь писать бумаг, ничего бы этого не вышло.

— Говорю, в паутинные дни к бабе не подступайся! — зудил купец.

— Какие там еще паутинные дни выискали! — огрызнулся гладкобритый. — У Бога все дни равны.

— Все равны, это точно, но в эти дни и в Писании паутину обметать предписано, — стоял на своем купец. — Что четверговую соль жечь, что паутину обметать, так уж на это четверг перед Пасхой и положен.

— Где же это, в каком таком Писании положение?

— В книжном. Там все передпраздничное очищение и приготовление обозначено.

— И вы сами читали?

— Сам не читал, но мне старые люди сказывали. Четверг на соль и на паутину предназначен, пятница на окраску яиц и чтоб пасху из творогу делать, а суббота на банное удовольствие и чтоб окорок запекать да куличи в печку сажать. Что четверговая соль, сударь, что четверговая паутина, она в обстоятельных домах целый год в банках сохраняться должна.

— Это зачем же?

— А через свою пользительность на потребу. Четверговая соль от глаза помогает, а что насчет четверговой паутины, то ничем так кровь при порезе не остановишь, как ей. Она и ушибы живит, и синяки поправляет. Вот ежели бы вы даве паутинки-то на синяк положили бы, так уж его бы теперь не было.

— Да вы не врете? — спросил купца гладкобритый.

— Спросите у простого старого человека. Да вон вам и буфетчик скажет.

— Точно так-с, Иван Иваныч, — откликнулся

буфетчик. — Что супротив порезу, что супротив ушибу — паутина самая пользительная вещь.

— Так дай мне, братец, скорей паутины, пошарь по углам…

— Теперь уж поздно, теперь рисунка не сведешь! — махнул рукой купец. — Вот ежели бы давеча дома, то другое дело, а теперь ваш узорчик вавилончиком все больше и больше в тень ударять будет. Сегодня он синева, завтра в бисмарковый цвет ударит, а к самой Пасхе бланжевой радугой разольется.

— Вы меня пугаете… Как же я с генералом-то?

— Тогда с генералом уж надо одной стороной христосоваться и боком. Будто у вас шея на сторону свернулась, оттого что за заутреней сквозным ветром надуло, — дал совет купец.

— Вот не было-то печали! — крикнул гладкобритый. — Налейте, коли так, мне еще рюмку водки такого же калибра.

— Иван Иваныч, что ты с одного на каменку поддаешь? Передохни малость, — остановил его красноносый.

— Теперь уж все равно! Будешь пьян или не будешь, а при синяке все-таки скажут, что пьян был, так уж лучше не понапрасну терпеть! — махнул рукой гладкобритый и с каким-то остервенением проглотил рюмку водки.

1881



Должников разыскал

Время под вечер. Страстная неделя. Купец Никита Алексеевич Крутов только что вошел к себе домой.

— Вообрази, какой случай!.. — проговорил он встретившей его жене.

— Вечно с случаями… — перебила его жена. — Что это, батюшка, отправился в церковь на исповедь, сказал, что через час вернешься, и вдруг до вечера!

— Нет, ты представь, какое происшествие!..

— Знаю я твои происшествия!.. Встретился в церкви с кем-нибудь из знакомых… тары да бары… начали из пустого в порожнее переливать… а там отправились в трактир чай пить — вот и все происшествие.

— Да дай ты мне сказать…

— Нечего тут говорить. Я дожидаю тебя дома, чтобы идти вместе окорок покупать, а ты в церкви с знакомыми бобы разводишь и по трактирам чаи распиваешь.

— Однако выслушай меня…

— Нечего и слушать… С знакомыми мог бы поговорить и на Пасхе…

— Но ведь прежде всего нужно тебе знать, с какими знакомыми…

— Исповедался ли, по крайней мере, у попа-то?

— В лучшем виде сподобился. Отец Афанасий тебе кланяется, желает встретить праздник в радости, обещался к нам на второй день праздника с крестом приехать… «К завтраку, — говорит, — потрафлю, чтобы ветчинки у вас поесть». Ты про случай-то выслушай…

— Что случай!.. Вон даже священнослужители на ветчину к нам сбираются, а мы до сих пор сидим еще без окорока.

— Но ведь сегодня еще только пятница. Пасха послезавтра. Окорок мы могли бы очень чудесно купить и завтра.

— Где уж тут завтра покупать! Все хорошие окорока разберут, и останется нам оборыш. Надо хороший, жирный, полновесный, с горбинкой…

— Да сегодня окорок и купим. Ну, чего раскудахталась-то! Словно курица перед яйцом. Сейчас пойдем и купим окорок. А ты выслушай только случай-то… То есть собственно два случая… — продолжал муж.

— Нечего мне и слушать… — махнула рукой жена. — Не раздевайся. Мы сейчас за окороком пойдем. Нужно еще ногу телятины купить, потом

индейку.

— Да присядь, присядь на минутку… Фу, какая ретивая!

Купец схватил жену за руку и посадил ее на стул.

— Ведь я в церкви-то должников ловил… — прибавил он.

— Пришел исповедоваться, а сам должников ловишь! Хорош говельщик! — сказала жена.

— Да что ж мне делать, ежели люди от меня скрываются, а тут вдруг попались. Не могу же я им дарить десятки рублей. Больно жирно будет.

— Ну и что же? Получил? Деньги-то отдали тебе?

— Нет, не получил… Денег мне не отдали, но все-таки… Да ты дай мне рассказать по порядку.

— Не дыши ты на меня, пожалуйста. От тебя водкой пахнет.

— Это еще с давешнего… Я за обедом пил…

— Знаю я твое давешнее! Сейчас с кем-нибудь в трактир забегал.

— Ну вот!.. Стану я тебе врать сейчас, после исповеди! Так вот какой случай. Чиновник один… Забрал он у меня в лавке год тому назад на двадцать восемь рублей разных разностей… Чудесно… Раз двадцать к нему посылал за деньгами

— нет дома, да и шабаш. На Рождестве встретил его на Невском… Только хотел к нему подойти, а он на другую сторону улицы перебежал… Я за ним… А он вскочил на извозчика — пошел! — да и был таков. А сегодня вдруг сталкиваемся в церкви нос с носом… И где же? у свечной выручки. Я свечку для исповеди покупаю, и он покупает. Я говею, и он, оказывается, говеет. Я купил в полтину серебра, он — в пятиалтынный. Я гляжу на него, и он глядит и будто не узнает меня. Даже делает такой вид, как будто я ему и не знаком. Взял свою свечку да и в сторону… Я к нему, он от меня. Я за ним, он — в толпу да к ширмам и протискивается, за которыми исповедаются. Я тоже протискиваюсь. Вижу, стоит в уголке, притаившись, и рожи корчит, чтоб я его не узнал. Один глаз прищурил и губу нижнюю скривил — думает, что авось я подумаю, что это не он. Вижу, фуражкой лицо прикрывает. Потом сторожу что-то шепчет и сунул ему в руку. Только я к нему сквозь толпу-то приблизился, а он шмыг от меня за ширмы! Ну, само собой, сторож, от него на чай получивши, не в очередь его за ширмы пропустил. Такая мне досада… Нет, стой, думаю, голубчик, я тебя укараулю, не уйдешь ты от меня. Не век у попа будешь за ширмами сидеть, когда

же нибудь и выйдешь оттуда.

— Да деньги ты с него все-таки получил? — перебивает жена.

— Постой, не перебивай. Получить не получил, но зато в лоск оконфузил. Да ты слушай… Ну-с, жду его, притаясь в уголке, — продолжал купец. — Вижу, вышел и на иконы крестится. Я к нему ближе… Он в землю кланяется. Ладно, думаю: подожду, пока ты отмолишься. А он видит, что я поджидаю его, когда он кончит молиться, — не кончает, да и что ты хочешь! Уж он в землю-то кланялся, кланялся… Наконец устал и стал отходить от образов. Только отошел — я прямо к нему… «Что же, мол, барин, должок-то? Когда же? Пора уж…» А он вытаращил на меня глаза да и говорит: «Какой должок? Вы, верно, ошиблись». — «Как, — говорю, — ошиблись! Разве вы у нас в фруктовой лавке не забирали чай, сахар и всякие разности?» — «Никогда я в долг ничего не забираю». — «И лавку Крутова не знаете?» — «И лавку Крутова не знаю». — «И меня не знаете?» — «И вас не знаю». Что ж ты думаешь? Ведь отрекся. Сейчас только с исповеди вышел и отрекся! Посмотрел я, это, на него да при всей-то публике и брякнул ему: «Стыдно, мол, барин, так делать, а еще исповедались!»

— Да он ли это, не ошибся ли ты? — спросила жена.


Воскресение Твое
Христе Спасе,
Ангелы поют
на небеси,

— Ну вот! Будто я его не знаю! На щеке бородавка с волосом, и лик на манер как бы у обезьяны. Наконец, его Петром Захарычем зовут, и я сам слышал, как одна дама, здороваясь с ним в церкви, Петром Захарычем его называла… — рассказывал купец и прибавил: — Так вот какой низкой совести на свете люди бывают!

— Только-то?

— Чего же тебе еще? Человек сейчас после исповеди — и от двадцати восьми рублей отрекся.

— Да и ты тоже хорош! Идешь на исповедь, а сам должников ловишь!

— Я дело другое. Я перед исповедью… Я за ширмы сходил да сейчас и покаялся.

— Перед исповедью всем прощать надо.

— Двадцать-то восемь рублей? Покорнейше благодарю, — поклонился купец. — По двадцати восьми рублей каждому встречному и поперечному прощать, так слишком жирно будет. Что он мне? Кум, брат, сват? Да наконец, коли бы ежели он путный человек был, то дело другое, а то явно — ярыга! Нет, уж я теперь так не оставлю! Я на Фоминой неделе к мировому… У меня свидетели есть. Надо проучить его, обезьянью морду!

— Полно тебе после исповеди-то! — остановила жена. — Сократись.

— А он зачем после исповеди не сокращается?

— То его грех… А ты сам-то воздержись от греха. Ну, идем окорок покупать.

— Постой, надо же и второй случай рассказать.

— Второй случай расскажешь по дороге. Надевай скорей пальто.

Купец стал надевать пальто и говорил:

— А второй случай был у меня с барыней… Только, это, я от отца Афанасия с исповеди-то выхожу и иду к дьякону, чтоб записаться… вдруг барыня навстречу. Три месяца тому назад взяла она у нас голову сахару… Взяла, посылаем за деньгами — сказывают: отметилась в Царское Село. Чудесно.

— Иди, иди… На дороге расскажешь… — проговорила жена и протолкнула купца на лестницу.

1885



Два игрока

Дело было на Страстной неделе.

— Праздник-то у меня вот где сидит! Вот где! — колотил себя по шее купец, выходя из своей квартиры на лестницу и прощаясь с женой.

В то же время отворилась дверь другой квартиры, находившейся напротив, и вышел пожилой чиновник в форменной фуражке, который, услыхав слова купца и увидав его жесты, сказал:

— Совершенно разделяю ваше мнение, сосед! Ох как труден праздник для всякого человека! Всем дай. В один день какой-нибудь можешь растаять до последнего полтинника в кармане.

Купец посмотрел ему на фуражку и сделал такой ответ:

— Вам что! Вам с полгоря и праздник-то можно с хлебом есть! Вы, ваше благородие, к оному награды денежные получаете.

— А вы, ваше степенство, на товары в своей лавке надбавляете, да и торговля шире идет.

— В моей лавке не надбавишь, ваше благородие, да и торговля-то к празднику делается поуже вместо ширины. Я песком да известкой торгую. Кирпич есть, изразец.

— А я к празднику-то к чину представлен вместо денежной награды. От него не укусишь. Да кроме того, проигрался в воскресенье в мушку в Благородном собрании. А где теперь отыграешься? Все клубы заперты на Страстной неделе. В картежные вертепы боюсь сунуться — совсем разденут.

— Представьте себе, ведь и меня в прошлое воскресенье выпотрошили на двенадцать красненьких. Вот судьба-то в одинаковой участи встретиться! А на этой неделе и в гости-то к себе никто не зовет, потому все говеют. Очищение души у всех на уме, а не карты.

— А вы сами-то уже говели? — спросил чиновник.

— На первой неделе еще отхватал, — отвечал купец.

— А я на Середокрестной неделе все грехи с себя снял. Знаете что: устройте у себя сегодня игру в стуколку и меня позовите. Хотя мы и незнакомы, но все-таки соседи. Честь имею рекомендоваться: коллежский советник… А имя, отчество и фамилию сказывать не надо. Вы их по моей дверной дощечке знаете. Как вас зовут и кто вы — я тоже знаю.

— Эк что хватили! Зачем же я на Страстной

неделе свою квартиру картежным грехопадением поганить буду? Да и кавардак у меня теперь дома: окна и двери моют, паутину из углов и с потолка снимают, дверные замки кислотой чистят. Устройте лучше вы у себя и меня к себе позовите. Важно бы по три рублика постукали.

— Я бы и устроил, да мне жена не позволит.

— И у меня жена брыкаться начнет. А вы лучше пугните вашу жену.

— Ну нет, это уж лучше вы сделайте. В нашем кругу жен не пугают, а в вашем, купеческом, даже и ткнуть женщину кулаком раза два ни за что не считается.

— Хорошему же вы меня наущаете! А вы, ваше благородие, вот что сделайте: вы ушлите куда-нибудь жену-то вон из дома по делу, а мы тем временем придем и засядем; значит, у меня без домашнего кровопролития обойдется.

— Что ж, это можно. Только смотрите: вернется она домой, так, пожалуй, ругать вас начнет. Она женщина мстительная, и я за нее не отвечаю.

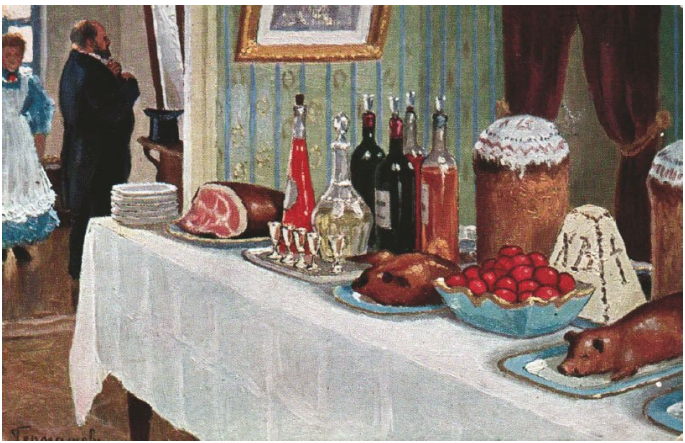
— Ничего, ругательства стерпим. В одно ухо будем впущать, а из другого выпущать. Так приходить вечером-то, что ли? — спросил купец.

— Очень вам благодарен, что вы такой снисходительный игрок, но вот беда: у меня не может

составиться стуколки. Где на этой неделе игроков собрать? И пятерых-то не загонишь. Вот ваше дело — другое, ваше дело — купеческое, у вас среди купечества игроков много да и бумажники-то у них обширнее. Ну чем тут дом опоганится, ежели в стуколку поиграть? Выбросьте это из головы! Ведь мы живем в девятнадцатом столетии. Ну что за предрассудки! Вот ежели бы у вас совсем в доме карт не было. А то все равно лежат же они у вас в квартире.

Купец задумался.

— Чудак-человек, ваше благородие! Да у меня и мебель-то вся кверху ногами опрокинута, шторы и занавески все сняты, всё выколачивают, вытряхают, — сказал он.



— Ничего, мы и при опрокинутой мебели поиграем. А что до штор и занавесок, то можно и скатертью от посторонних взоров окна завесить.

— Все это так-то так… Но вдруг ежели и моя жена вас ругать начнет? Каково в вашем-то чине от купчихи такую словесность стерпеть? Ведь купеческие-то каламбуры чище чиновничьих.

— Любезность за любезность. Вы изъявили

готовность от моей жены претерпеть неприятности — извольте, и я к вашим услугам! Брань на вороту не виснет. Да и что такое чин? Да и оскорбления от женщины ни во что не считаются. Так прикажете ужо вечером приходить к вам?

— Нет, не рука. Мне еще труднее, чем вам, собрать стукольщиков-то, — отвечал купец. — Купцы много благочестивее чиновников. Они на Страстной-то неделе и с маслом не вкушают, так какие тут карты!

— Что правда, то правда. Вот незадача! — почесал у себя в раздумье за ухом чиновник и тут же спросил: — Вы в палки играете?

— В лучшем виде.

— Ну вот и отлично! Чего ж нам горевать-то? Ведь тут игра один на один. В палки можно вдвоем играть. Значит, мы вот как сделаем: я приду ужо к вам как покупатель, под видом того, что будто песок и известку покупать для постройки, поговорим об изразцах, о кирпиче, а потом удалимся в комнату, запремся, засядем за зеленый стол да и сразимся. Согласны?

— Нет, вдвоем не расчет. Вы хотите отыграться, и я хочу непременно отыграться, какая же тут картежная музыка может изо всего этого выйти? Ведь кто-нибудь один из нас должен будет проиг-

рать, оба мы выиграть не можем.

— Конечно не можем, но тут уж чье счастье.

— Этого-то мне и не хочется. Только что мы с вами познакомились и вдруг глаз на глаз резаться будем. Мне хотелось бы так, чтобы мы оба выиграли и тем самым для первого знакомства закрепили сердечность наших чувств. А то обыграю я вас — вы на меня коситься будете, обыграйте вы меня — я могу вам какой ни на есть каламбур отпустить.

— Что правда, то правда. Разойдемся! Прощайте! Тогда на праздниках ко мне милости просим, — сказал чиновник.

— Прощенья просим! и ко мне на праздниках пожалуйте. Таким купеческим окороком угощу, что просто на славу! — отвечал купец.

Соседи раскланялись и разошлись в разные стороны.

1879



Антон Чехов

На Страстной неделе

— Иди, уже звонят. Да смотри не шали в церкви, а то Бог накажет.

Мать сует мне на расходы несколько медных монет и тотчас же, забыв про меня, бежит с остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки; крыши и тротуары сухи; под заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная, молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь, бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. Куда, куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан… Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря.

Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вож-

жи и не видит, что на задке его пролетки повисли два уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками.

«На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? — думаю я. — Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то Бог сжалится над ними и пустит их в рай».

Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его Божия Матерь и Иоанн Богослов. Паникадила и ставники одеты в черные, траурные чехлы, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия;

я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и Божия Матерь с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими.

За свечным шкапом стоит Прокофий Игнатьич, старый отставной солдат, помощник церковного старосты. Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полушепотом какой-то старухе:

— Утреня будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни. А завтра к часам ударят в восьмом часу. Поняла? В восьмом.

А между двух широких колонн направо, там, где начинается придел Варвары Великомученицы, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники… Тут же и Митька, оборванный, некрасиво остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими, очень злыми глазами. Это сын вдовы поденщицы Настасьи, забияка, разбойник, хватающий с лотков у торговок яблоки и не раз

отнимавший у меня бабки. Он сердито оглядывает меня и, мне кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во мне закипает злоба, я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досадую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи.

Впереди него стоит роскошно одетая, красивая дама в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно зарумянилась.

Жду я пять минут, десять… Из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с длинной, тощей шеей и в высоких резиновых калошах; начинаю мечтать о том, как я вырасту большой и как куплю себе такие же калоши, непременно куплю! Дама вздрагивает и идет за ширмы. Ее очередь.


ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

В щелку между двумя половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает земной поклон, затем поднимается и, не глядя на священника, в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы, цепочку от наперсного креста и широкую спину. А лица не видно. Вздохнув и не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шепот. Дама слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю.

«Чем она грешна? — думаю я, благоговейно посматривая на ее кроткое, красивое лицо. — Боже, прости ей грехи! Пошли ей счастье!»

Но вот священник покрывает ее голову епитрахилью.

— И аз недостойный иерей… — слышится его голос, — властию его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих…

Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, весело.

«Она теперь счастлива, — думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившего ей грехи. — Но как должен быть счастлив человек, которому

дано право прощать».

Теперь очередь Митьки, но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику, я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым… Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтенье и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи… Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю, но, что дальше, я не вижу; от мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы; оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком, священник колеблется, пол кажется волнистым…

Раздается голос священника:

— И аз недостойный иерей…

Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху… Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос, и

моя щека, обращенная к нему, начинает гореть… Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренно, не своим, каким-то странным голосом, вспоминаю одиноких Богородицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать, и мне хочется плакать, просить прощения.

— Тебя как зовут? — спрашивает священник, покрывая мою голову мягкою епитрахилью.

Как теперь легко, как радостно на душе!

Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от рясы, я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы.

— Как тебя зовут? — спрашивает дьякон.

— Федя.

— А по отчеству?

— Не знаю.

— Как зовут твоего папашу?

— Иван Петрович.

— Фамилия?

Я молчу.

— Сколько тебе лет?

— Девятый год.

Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают,

поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или Диоскора, жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келии и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол — это собираются ужинать; будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой!

— Боже, очисти меня грешного, — молюсь я, укрываясь с головой. — Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа.

На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит радостью, счастьем и весной; лица Богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и, кажется, все прошлое предано забвению, все прощено. Митька тоже

причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши и, чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему:

— Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали так волосы и если б ты не был так бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху, будем в бабки играть.



Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полой кулаком.

А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье и большая сверкающая брошь в виде подковы. Я любуюсь ею и думаю, что когда я вырасту большой, то непременно женюсь на такой женщине, но, вспомнив, что жениться — стыдно, я перестаю об этом думать и иду на клирос, где дьячок уже читает часы.

1887



Письмо

Благочинный отец Федор Орлов, благообразный, хорошо упитанный мужчина лет пятидесяти, как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходящим с лица выражением достоинства, но до крайности утомленный, ходил из угла в угол по своей маленькой зале и напряженно думал об одном: когда наконец уйдет его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость, отец Анастасий, священник одного из подгородних сел, часа три тому назад пришел к нему по своему делу, очень неприятному и скучному, засиделся и теперь, положив локоть на толстую счетную книгу, сидел в углу за круглым столиком и, по-видимому, не думал уходить, хотя уже был девятый час вечера.

Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти. Нередко случается, что даже светски воспитанные, политичные люди не замечают, как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство, похожее на ненависть, и как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отец же Анастасий отлично видел и понимал, что его присутствие тягостно и неуместно,

что благочинный, служивший ночью утреню, а в полдень длинную обедню, утомлен и хочет покоя; каждую минуту он собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидел и как будто ждал чего-то. Это был старик 65 лет, дряхлый не по летам, костлявый и сутуловатый, с старчески темным, исхудалым лицом, с красными веками и длинной, узкой, как у рыбы, спиной; одет он был в щегольскую светло-лиловую, но слишком просторную для него рясу (подаренную ему вдовою одного недавно умершего молодого священника), в суконный кафтан с широким кожаным поясом и в неуклюжие сапоги, размер и цвет которых ясно показывал, что отец Анастасий обходился без калош. Несмотря на сан и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, седые с зеленым отливом косички на затылке, большие лопатки на тощей спине… Он молчал, не двигался и кашлял с такою осторожностью, как будто боялся, чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее.

У благочинного старик бывал по делу. Месяца два назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. Грехов за ним числилось много. Он вел нетрезвую жизнь, не ладил с причтом и с миром, небреж-

но вел метрические записи и отчетность — в этом его обвиняли формально, но, кроме того, еще с давних пор носились слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал приезжавшим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. Эти слухи держались тем упорнее, что он был беден и имел девять человек детей, живших на его шее и таких же неудачников, как и он сам. Сыновья были необразованны, избалованы и сидели без дела, а некрасивые дочери не выходили замуж.

Не имея силы быть откровенным, благочинный ходил из угла в угол, молчал или же говорил намеками.

— Значит, вы нынче не поедете к себе домой? — спросил он, останавливаясь около темного окна и просовывая мизинец к спящей, надувшейся канарейке.

Отец Анастасий встрепенулся, осторожно кашлянул и сказал скороговоркой:

— Домой? Бог с ним, не поеду, Федор Ильич. Сами знаете, служить мне нельзя, так что же я там буду делать? Нарочито я уехал, чтоб людям в глаза не глядеть. Сами знаете, совестно не служить. Да и дело тут мне есть, Федор Ильич. Хочу завтра после разговенья с отцом следователем

обстоятельно поговорить.

— Так… — зевнул благочинный. — А вы где остановились?

— У Зявкина.

Отец Анастасий вдруг вспомнил, что часа через два благочинному предстоит служить пасхальную утреню, и ему стало так стыдно своего неприятного, стесняющего присутствия, что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку покой. И старик поднялся, чтобы уйти, но, прежде чем начать прощаться, он минуту откашливался и пытливо, все с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре, глядел на спину благочинного; на лице его заиграли стыд, робость и жалкий, принужденный смех, каким смеются люди, не уважающие себя. Как-то решительно махнув рукой, он сказал с сиплым дребезжащим смехом:

— Отец Федор, продлите вашу милость до конца, велите на прощанье дать мне… рюмочку водочки!

— Не время теперь пить водку, — строго сказал благочинный. — Стыд надо иметь.



Вербная неделя. — Вербы на Красной площади въ Москвѣ.
(Рисунокъ А. Вилькина).

Отец Анастасий еще больше сконфузился, засмеялся и, забыв про свое решение уходить домой, опустился на стул. Благочинный взглянул на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тело, и ему стало жаль старика.

— Бог даст завтра выпьем, — сказал он, желая смягчить свой строгий отказ. — Все хорошо во-

время.

Благочинный верил в исправление людей, но теперь, когда в нем разгоралось чувство жалости, ему стало казаться, что этот подследственный, испитой, опутанный грехами и немощами старик погиб для жизни безвозвратно, что на земле нет уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать неприятный, робкий смех, каким он нарочно смеялся, чтобы сгладить хотя немного производимое им на людей отталкивающее впечатление.

Старик казался уже отцу Федору не виновным и не порочным, а униженным, оскорбленным, несчастным; вспомнил благочинный его попадью, девять человек детей, грязные нищенские полати у Зявкина, вспомнил почему-то тех людей, которые рады видеть пьяных священников и уличаемых начальников, и подумал, что самое лучшее, что мог бы сделать теперь отец Анастасий, — это как можно скорее умереть, навсегда уйти с этого света.

Послышались шаги.

— Отец Федор, вы не отдыхаете? — спросил из передней бас.

— Нет, дьякон, войди.

В залу вошел сослуживец Орлова, дьякон Лю-

бимов, человек старый, с плешью во все темя, но еще крепкий, черноволосый и с густыми, черными, как у грузина, бровями. Он поклонился Анастасию и сел.

— Что скажешь хорошего? — спросил благочинный.

— Да что хорошего? — ответил дьякон и, помолчав немного, продолжал с улыбкой: — Малые дети — малое горе, большие дети — большое горе. Тут такая история, отец Федор, что никак не опомнюсь. Комедия, да и только.

Он еще немного помолчал, улыбнулся шире и сказал:

— Нынче Николай Матвеич из Харькова вернулся. Про моего Петра мне рассказывал. Был, говорит, у него раза два.

— Что же он тебе рассказывал?

— Встревожил, Бог с ним. Хотел меня порадовать, а как я раздумался, то выходит, что мало тут радости. Скорбеть надо, а не радоваться… «Твой, говорит, Петрушка шибко живет, рукой, говорит, до него теперь не достанешь». Ну и слава Богу, говорю. «Я, говорит, у него обедал и весь образ его жизни видел. Живет, говорит, благородно, лучше и не надо». Мне, известно, любопытно, я и спрашиваю: а что за обедом у него подава-

ли? «Сначала, говорит, рыбное, словно как бы на манер ухи, потом язык с горошком, а потом, говорит, индейку жареную». Это в пост-то индейку? Хороша, говорю, радость. В Великий пост-то индейку? А?

— Удивительного мало, — сказал благочинный, насмешливо щуря глаза.

И, заложив большие пальцы обеих рук за пояс, он выпрямился и сказал тоном, каким говорил обыкновенно проповеди или объяснял ученикам в уездном училище Закон Божий:

— Люди, не соблюдающие постов, делятся на две различные категории: одни не исполняют по легкомыслию, другие же по неверию. Твой Петр не исполняет по неверию. Да.

Дьякон робко поглядел на строгое лицо отца Федора и сказал:

— Дальше — больше… Поговорили, потолковали, то да се, и оказывается еще, что мой неверяка-сынок с какой-то мадамой живет, с чужой женой. Она у него на квартире заместо жены и хозяйки, чай разливает, гостей принимает и остальное прочее, как венчанная. Уже третий год, как с этой гадюкой хороводится. Комедия, да и только. Три года живут, а детей нету.

— Стало быть, в целомудрии живут! — захи-

хикал отец Анастасий, сипло кашляя. — Есть дети, отец дьякон, есть, да дома не держат! В вошпитательные приюты отсылают! Хе, хе, хе… — Анастасий закашлялся.

— Не суйтесь, отец Анастасий, — строго сказал благочинный.

— Николай Матвеич и спрашивает его: какая это такая у вас мадама за столом суп разливает? — продолжал дьякон, мрачно оглядывая согнутое тело Анастасия. — А он ему: это, говорит, моя жена. А тот и спроси: «Давно ли изволили венчаться?» Петр и отвечает: мы венчались в кондитерской Куликова.

Глаза благочинного гневно вспыхнули, и на висках выступила краска. Помимо своей греховности, Петр был ему несимпатичен как человек вообще. Отец Федор имел против него, что называется, зуб. Он помнил его еще мальчиком-гимназистом, помнил отчетливо, потому что и тогда еще он казался ему ненормальным. Петруша-гимназист стыдился помогать в алтаре, обижался, когда говорили ему «ты», входя в комнаты, не крестился и, что памятнее всего, любил много и горячо говорить, а, по мнению отца Федора, многословие детям неприлично и вредно; кроме того, Петруша презрительно и кри-

тически относился к рыбной ловле, до которой благочинный и дьякон были большие охотники. Студент же Петр вовсе не ходил в церковь, спал до полудня, смотрел свысока на людей и с каким-то особенным задором любил поднимать щекотливые, неразрешимые вопросы.

— Что же ты хочешь? — спросил благочинный, подходя к дьякону и сердито глядя на него. — Что же ты хочешь? Этого следовало ожидать! Я всегда знал и был уверен, что из твоего Петра ничего путного не выйдет! Говорил я тебе и говорю. Что посеял, то и пожинай теперь! Пожинай!

— Да что же я посеял, отец Федор? — тихо спросил дьякон, глядя снизу вверх на благочинного.

— А кто же виноват, как не ты? Ты родитель, твое чадо! Ты должен был наставлять, внушать страх божий. Учить надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грех! Нехорошо! Стыдно!

Благочинный забыл про свое утомление, шагал и продолжал говорить. На голом темени и на лбу дьякона выступили мелкие капли. Он поднял виноватые глаза на благочинного и сказал:

— Да разве я не наставлял, отец Федор? Господи помилуй, разве я не отец своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалел, всю жизнь

старался и Бога молил, чтоб ему настоящее образование дать. Он у меня и в гимназии был, и репетиторов я ему нанимал, и в университете он кончил. А что ежели я его ум направить не мог, отец Федор, так ведь, судите сами, на это у меня способности нет! Бывало, когда он студентом сюда приезжал, я начну ему по-своему внушать, а он не слушает. Скажешь ему: «Ходи в церковь», а он: «Зачем ходить?» Станешь ему объяснять, а он: «Почему? зачем?» Или похлопает меня по плечу и скажет: «Все на этом свете относительно, приблизительно и условно. Ни я ничего не знаю, ни вы ничесоже не знаете, папаша».

Отец Анастасий сипло рассмеялся, закашлялся и шевельнул в воздухе пальцами, как бы собираясь что-то сказать. Благочинный взглянул на него и сказал строго:

— Не суйтесь, отец Анастасий.

Старик смеялся, сиял и, видимо, с удовольствием слушал дьякона, точно рад был, что на этом свете и кроме него есть еще грешные люди. Дьякон говорил искренно, с сокрушенным сердцем, и даже слезы выступили у него на глазах. Отцу Федору стало жаль его.

— Виноват ты, дьякон, виноват, — сказал он, но уже не так строго и горячо. — Умел родить

— умей и наставить. Надо было еще в детстве его наставлять, а студента поди-ка исправь!

Наступило молчание. Дьякон всплеснул руками и сказал со вздохом:

— А ведь мне же за него отвечать придется!

— То-то вот оно и есть!

Помолчав немного, благочинный и зевнул и вздохнул в одно и то же время и спросил:

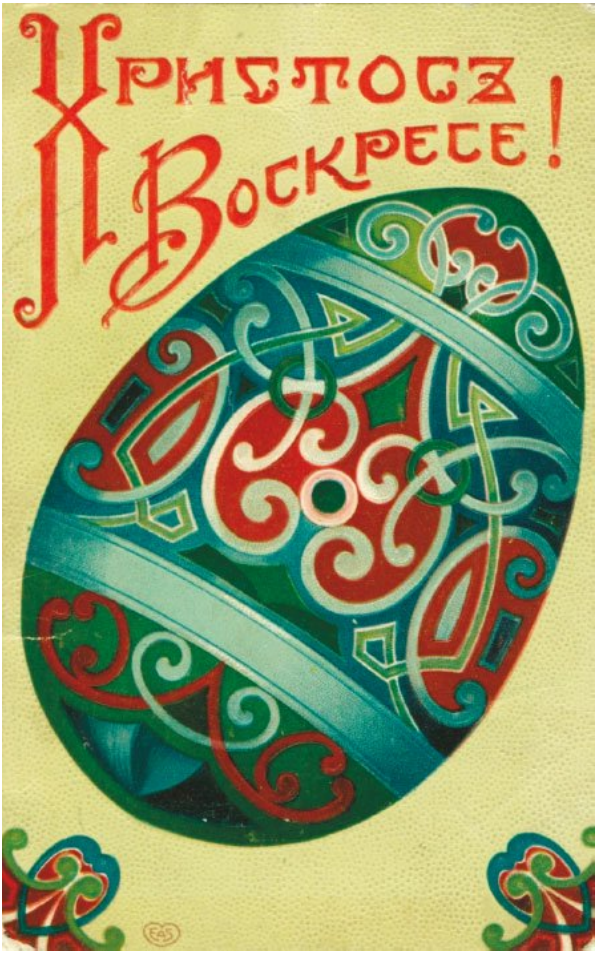
— Кто Деяния читает?

— Евстрат. Всегда Евстрат читает.

Дьякон поднялся и, умоляюще глядя на благочинного, спросил:

— Отец Федор, что же мне теперь делать?

— Что хочешь, то и делай. Не я отец, а ты. Тебе лучше знать.


ХРИСТОСЪ
ВОСКРЕСЕ!

— Ничего я не знаю, отец Федор! Научите меня, сделайте милость! Верите ли, душа истомилась! Теперь я ни спать не могу, ни сидеть спокойно, и праздник мне не в праздник. Научите, отец Федор!

— Напиши ему письмо.

— Что же я ему писать буду?

— А напиши, что так нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно, не смягчая и не умаляя его вины. Это твоя родительская обязанность. Напишешь, исполнишь свой долг и успокоишься.

— Это верно, но что же я ему напишу? В каких смыслах? Я ему напишу, а он мне в ответ: «Почему? зачем? почему это грех?»

Отец Анастасий опять сипло засмеялся и шевельнул пальцами.

— Почему? Зачем? Почему это грех? — визгливо заговорил он. — Исповедую я раз одного господина и говорю ему, что излишнее упование на милосердие Божие есть грех, а он спрашивает: почему? Хочу ему ответить, а тут, — Анастасий хлопнул себя по лбу, — а тут-то у меня и нету! Хи-и-хе-хе-хе…

Слова Анастасия, его сиплый дребезжащий смех над тем, что не смешно, подействовали на благочинного и дьякона неприятно. Благочин-

ный хотел было сказать старику «не суйтесь», но не сказал, а только поморщился.

— Не могу я ему писать! — вздохнул дьякон.

— Ты не можешь, так кто же может?

— Отец Федор! — сказал дьякон, склоняя голову набок и прижимая руку к сердцу. — Я человек необразованный, слабоумный, вас же Господь наделил разумом и мудростью. Вы всё знаете и понимаете, до всего умом доходите, я же путем слова сказать не умею. Будьте великодушны, наставьте меня в рассуждении письма! Научите, как его и что…

— Что ж тут учить? Учить нечему. Сел да написал.

— Нет, уж сделайте милость, отец настоятель! Молю вас. Я знаю, вашего письма он убоится и послушается, потому ведь вы тоже образованный. Будьте такие добрые! Я сяду, а вы мне подиктуйте. Завтра писать грех, а нынче бы самое в пору, я бы и успокоился.

Благочинный поглядел на умоляющее лицо дьякона, вспомнил несимпатичного Петра и согласился диктовать. Он усадил дьякона за свой стол и начал:

— Ну, пиши… Христос воскрес, любезный сын… знак восклицания. Дошли до меня, твоего отца,

слухи… далее в скобках… а из какого источника, тебя это не касается… скобка… Написал?.. что ты ведешь жизнь не сообразную ни с божескими, ни с человеческими законами. Ни комфортабельность, ни светское великолепие, ни образованность, коими ты наружно прикрываешься, не могут скрыть твоего языческого вида. Именем ты христианин, но по сущности своей язычник, столь же жалкий и несчастный, как и все прочие язычники, даже еще жалчее, ибо те язычники, не зная Христа, погибают от неведения, ты же погибаешь оттого, что обладаешь сокровищем, но небрежешь им. Не стану перечислять здесь твоих пороков, кои тебе достаточно известны, скажу только, что причину твоей погибели вижу я в твоем неверии. Ты мнишь себя мудрым быти, похваляешься знанием наук, а того не хочешь понять, что наука без веры не только не возвышает человека, но даже низводит его на степень низменного животного, ибо…

Все письмо было в таком роде. Кончив писать, дьякон прочел его вслух, просиял и вскочил.

— Дар, истинно дар! — сказал он, восторженно глядя на благочинного и всплескивая руками. — Пошлет же Господь такое дарование! А? Мать Царица! Во сто лет бы, кажется, такого письма не

сочинил! Спаси вас Господи!

Отец Анастасий тоже пришел в восторг.

— Без дара так не напишешь! — сказал он, вставая и шевеля пальцами. — Не напишешь! Тут такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и в нос ткнуть. Ум! Светлый ум! Не женились бы, отец Федор, давно бы вы в архиереях были, истинно, были бы!

Излив свой гнев в письме, благочинный почувствовал облегчение. К нему вернулись и утомление, и разбитость. Дьякон был свой человек, и благочинный не постеснился сказать ему:

— Ну, дьякон, ступай с Богом. Я с полчасика на диване подремлю, отдохнуть надо.

Дьякон ушел и увел с собою Анастасия. Как всегда бывает накануне Светлого дня, на улице было темно, но все небо сверкало яркими, лучистыми звездами. В тихом, неподвижном воздухе пахло весной и праздником.

— Сколько времени он диктовал? — изумлялся дьякон. — Минут десять, не больше! Другой бы и в месяц такого письма не сочинил. А? Вот ум! Такой ум, что я и сказать не умею! Удивление! Истинно, удивление!

— Образование! — вздохнул Анастасий, при переходе через грязную улицу поднимая до пояса

полы своей рясы. — Не нам с ним равняться. Мы из дьячков, а ведь он науки проходил. Да. Настоящий человек, что и говорить.

— А вы послушайте, как он нынче в обедне Евангелие будет читать по-латынски! И по-латынски он знает, и по-гречески знает… А Петруха, Петруха! — вдруг вспомнил дьякон. — Ну, теперь он поче-ешется! Закусит язык! Будет помнить кузькину мать! Теперь уже не спросит: почему? Вот уж именно дока на доку наскочил! Ха-ха-ха!

Дьякон весело и громко рассмеялся. После того как письмо к Петру было написано, он повеселел и успокоился. Сознание исполненного родительского долга и вера в силу письма вернули к нему и его смешливость, и добродушие.

— Петр в переводе значит камень, — говорил он, подходя к своему дому. — Мой же Петр не камень, а тряпка. Гадюка на него насела, а он с ней нянчится, спихнуть ее не может. Тьфу! Есть же, прости господи, такие женщины! А? Где ж в ней стыд? Насела на парня, прилипла и около юбки держит… к шутам ее на пасеку!

— А может, не она его держит, а он ее?

— Все-таки, значит, в ней стыда нет! А Петра я не защищаю… Ему достанется… Прочтет письмо и почешет затылок! Сгорит со стыда!

— Письмо славное, но только того… не посылать бы его, отец дьякон. Бог с ним!

— А что? — испугался дьякон.

— Да так! Не посылай, дьякон! Что толку? Ну, ты пошлешь, он прочтет, а… а дальше что? Встревожишь только. Прости, Бог с ним!

Дьякон удивленно поглядел на темное лицо Анастасия, на его распахнувшуюся рясу, похожую в потемках на крылья, и пожал плечами.

— Как же так прощать? — спросил он. — Ведь я же за него Богу отвечать буду!

— Хоть и так, а все же прости. Право! А Бог за твою доброту и тебя простит.

— Да ведь он мне сын? Должен я его учить или нет?

— Учить? Отчего не учить? Учить можно, а только зачем язычником обзывать? Ведь ему, дьякон, обидно…

Дьякон был вдов и жил в маленьком трехоконном домике. Хозяйством у него заведовала его старшая сестра, девушка, года три тому назад лишившаяся ног и потому не сходившая с постели; он ее боялся, слушался и ничего не делал без ее советов. Отец Анастасий зашел к нему. Увидев у него стол, уже покрытый куличами и красными яйцами, он почему-то, вероятно вспомнив про

свой дом, заплакал и, чтобы обратить эти слезы в шутку, тотчас же сипло засмеялся.

— Да, скоро разговляться, — сказал он. — Да… Оно бы, дьякон, и сейчас не мешало… рюмочку выпить. Можно? Я так выпью, — зашептал он, косясь на дверь, — что старушка… не услышит… ни-ни…

Дьякон молча пододвинул к нему графин и рюмку, развернул письмо и стал читать вслух. И теперь письмо ему так же понравилось, как и в то время, когда благочинный диктовал его. Он просиял от удовольствия и, точно попробовав что-то очень сладкое, покрутил головой.

— Ну, письмо-о! — сказал он. — И не снилось Петрухе такое письмо. Такое вот и надо ему, чтоб в жар его бросило… во!

— Знаешь, дьякон? Не посылай! — сказал Анастасий, наливая как бы в забывчивости вторую рюмку. — Прости, Бог с ним! Я тебе… вам по совести. Ежели отец родной его не простит, то кто ж его простит? Так и будет, значит, без прощения жить? А ты, дьякон, рассуди: наказующие и без тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующих поискал! Я… я, братушка, выпью… Последняя… Прямо так возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петр! Он пойме-ет! Почу-увствует!

Я, брат… я, дьякон, по себе это понимаю. Когда жил как люди, и горя мне было мало, а теперь, когда образ и подобие потерял, только одного и хочу, чтоб меня добрые люди простили. Да и то рассуди, не праведников прощать надо, а грешников. Для чего тебе старушку твою прощать, ежели она не грешная? Нет, ты такого прости, на которого глядеть жалко… да!



Анастасий подпер голову кулаком и задумался.

— Беда, дьякон, — вздохнул он, видимо борясь с желанием выпить. — Беда! Во гресех роди мя мати моя, во гресех жил, во гресех и помру… Господи, прости меня грешного! Запутался я, дьякон! Нет мне спасения! И не то чтобы в жизни запутался, а в самой старости перед смертью… Я…

Старик махнул рукой и еще выпил, потом встал и пересел на другое место. Дьякон, не выпуская из рук письма, заходил из угла в угол. Он думал о своем сыне. Недовольство, скорбь и страх уже не беспокоили его: все это ушло в письмо. Теперь он только воображал себе Петра, рисовал его лицо, вспоминал прошлые годы, когда сын приезжал гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чем можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь. Скучая по сыне, он еще раз прочел письмо и вопросительно поглядел на Анастасия.

— Не посылай! — сказал тот, махнув кистью руки.

— Нет, все-таки… надо. Все-таки оно его, того… немножко на ум наставит. Не лишнее…

Дьякон достал из стола конверт, но, прежде чем вложить в него письмо, сел за стол, улыбнулся и прибавил от себя внизу письма: «А к нам нового штатного смотрителя прислали. Этот пошустрей прежнего. И плясун, и говорун, и на все руки, так что говоровские дочки от него без ума. Воинскому начальнику Костыреву тоже, говорят, скоро отставка. Пора!» И очень довольный, не понимая, что этой припиской он вконец испортил строгое письмо, дьякон написал адрес и положил письмо на самое видное место стола.

1887



Казак

Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо… Перепел кричал свои «пить пойдем! пить пойдем!», да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа.

Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, все представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что все у него исправно, домашнее убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и все хорошо; глядел он на жену — и она казалась ему красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его тряская визгливая бричка, нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак закурить папи-

росу и выпил стаканчик, ему стало еще веселее…

— Сказано, велик день! — говорил он. — Вот и велик! Погоди, Лиза, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую Пасху играет! И оно тоже радуется, как люди!

— Оно не живое, — заметила жена.

— Да на нем люди есть! — воскликнул Торчаков. — Ей-богу, есть! Мне Иван Степаныч рассказывал — на всех планетах есть люди, на солнце и на месяце! Право… А может, ученые и брешут, нечистый их знает! Постой, никак лошадь стоит! Так и есть!

На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Торчаков и его жена увидели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги.

— Христос воскрес! — крикнул ему Максим.

— Воистину воскрес, — ответил казак, не поднимая головы.

— Куда едешь?

— Домой, на льготу.

— Зачем же тут сидишь?

— Да так… захворал… Нет мочи ехать.

— Что ж у тебя болит?

— Весь болю.

— Гм… вот напасть! У людей праздник, а ты хвораешь! Да ты бы в деревню или на постоялый ехал, а что так сидеть?

Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену, лошадь.

— Вы это из церкви? — спросил он.

— Из церкви.

— А меня праздник в дороге застал. Не привел Бог доехать. Сейчас сесть бы да ехать, а мочи нет… Вы бы, православные, дали мне, проезжему, свяченой пасочки разговеться!

— Пасочки? — спросил Торчаков. — Оно можно, ничего… Постой, сейчас…

Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал:

— Нету у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то — не рука, всю паску испортишь. Вот задача! Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?

Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом.

— Вот еще что выдумали! — сердито сказала жена Торчакова. — Не дам я тебе паску кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную повезу? И видано ль дело — в степи разговляться! Поезжай на деревню к мужикам да там и разговляйся!

Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в

белую салфетку, и сказала:

— Не дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченая паска, и грех ее без толку кромсать.

— Ну, казак, не прогневайся! — сказал Торчаков и засмеялся. — Не велит жена! Прощай, путь-дорога!

Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покатила дальше. А жена все еще говорила, что резать кулич, не доехав до дому, — грех и непорядок, что все должно иметь свое место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца; послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна, в отдалении друг от друга, носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой траве затрещали кузнечики.

Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и пристально поглядел вдаль.

— Не видать казака… — сказал он. — Экий сердяга, вздумал в дороге хворать! Нет хуже напасти: ехать надо, а мочи нет… Чего доброго, помрет в дороге… Не дали мы ему, Лизавета, паски, а небось и ему надо было дать. Небось и ему разговеться хочется.

Солнце взошло, но играло оно или нет, Торчаков не видел. Всю дорогу до самого дома он молчал, о

чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно отчего, им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было.

Приехали домой, христосовались с работниками; Торчаков опять повеселел и стал разговаривать, но как сели разговляться и все взяли по куску свяченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал:

— А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться.

— Чудной ты, ей-богу! — сказала Лизавета и с удивлением пожала плечами. — Где ты взял такую моду, чтобы свяченую паску раздавать по дороге? Нешто это булка? Теперь она порезана, на столе лежит, пущай ест кто хочет, хоть и казак твой! Разве мне жалко?

— Так-то оно так, а жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и сироты. В дороге, далеко от дому, хворый…

Торчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять стало скучно.

После разговенья легли спать. Когда часа через два Лизавета проснулась, он стоял у окна и глядел

во двор.

— Ты уже встал? — спросила жена.

— Не спится что-то… Эх, Лизавета, — вздохнул он, — обидели мы с тобой казака!

— Ты опять с казаком! Дался тебе этот казак. Бог с ним.

— Он царю служил, может, кровь проливал, а мы с ним как с свиньей обошлись. Надо бы его, больного, домой привезть, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали.

— Да, так и дам я тебе паску портить. Да еще свяченую! Ты бы ее с казаком искромсал, а я бы потом дома глазами лупала? Ишь ты какой!

Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работникам.

— Кузьма, брось гармонию, — обратился он к одному из них. — Седлай гнедого или Иванчика и езжай поживее к Кривой Балочке. Там больной казак с лошадью, так вот отдай ему это. Может, он еще не уехал.

Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов Кузьму, не вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он его у самой Балочки.

— Ну что? Видал казака?

— Нигде нету. Должно, уехал.

— Гм… история!

Торчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав до деревни, он спросил у мужиков:

— Братцы, не видали ли вы больного казака с лошадью? Не проезжал ли тут? Из себя рыжий, худой, на гнедом коне.

Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели.


Съ праздникомъ Св Пасхи.

— Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто другой — такого не было.

Вернулся Максим домой к обеду.

— Сидит у меня этот казак в голове и хоть ты что! — сказал он жене. — Не дает спокою. Я все думаю: а что, ежели это Бог нас испытать хотел и ангела или святого какого в виде казака нам навстречу послал? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека!

— Да что ты ко мне с казаком пристал? — крикнула Лизавета, выходя из терпения. — Пристал, как смола!

— А ты, знаешь, недобрая… — сказал Максим и пристально поглядел ей в лицо.

И он впервые после женитьбы заметил, что его жена недобрая.

— Пущай я недобрая, — крикнула она и сердито стукнула ложкой, — а только не стану я всяким пьяницам свяченую паску раздавать!

— А нешто казак пьяный?

— Пьяный!

— Почем ты знаешь?

— Пьяный!

— Ну и дура!

Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою молодую жену, говорил,

что она немилосердная и глупая. А она, тоже рассердившись, заплакала и ушла в спальню и крикнула оттуда:

— Чтоб он околел, твой казак! Отстань ты от меня, холера, со своим казаком вонючим, а то я к отцу уеду!

За все время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. До самой вечерни он ходил у себя по двору, все думал о жене, думал с досадой, и она казалась теперь злой, некрасивой. И как нарочно, казак все не выходил из головы и Максиму мерещились то его больные глаза, то голос, то походка…

— Эх, обидели мы человека! — бормотал он. — Обидели!

Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было, — хоть в петлю полезай! От скуки и с досады на жену он напился, как напивался в прежнее время, когда был неженатым. В хмелю он бранился скверными словами и кричал жене, что у нее злое, некрасивое лицо и завтра же он прогонит ее к отцу.

Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться и опять напился.

С этого и началось расстройство.

Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу, друг за дружкой стали исчезать со двора, долги росли, жена становилась постылой… Все эти напасти, как говорил Максим, произошли оттого, что у него злая, глупая жена, что Бог прогневался на него и на жену… за больного казака. Он все чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак…

1887



Студент

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил

из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю Страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад, — сказал студент, подходя к костру. — Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и

улыбнулась приветливо.

— Не узнала, Бог с тобой, — сказала она. — Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось была на Двенадцати евангелиях?

— Была, — ответила Василиса.

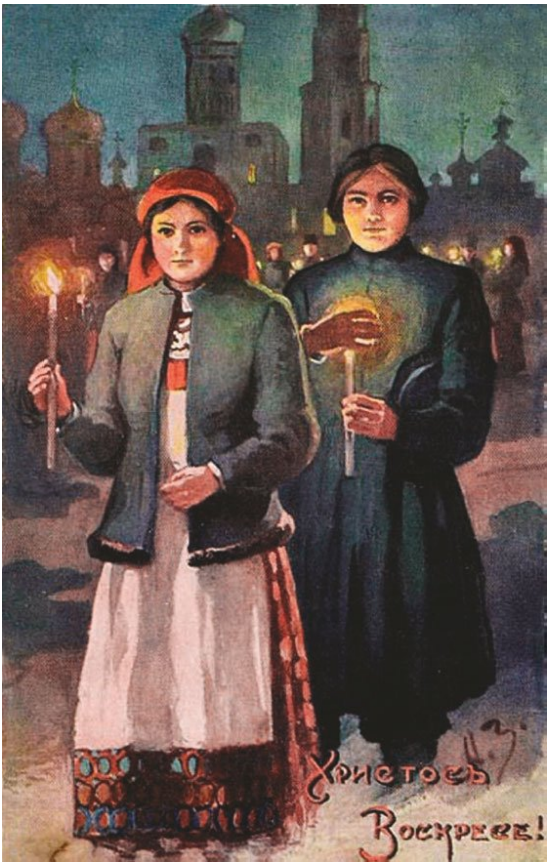
— Если помнишь, во время Тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, осла-

бел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его, связанного, вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед… Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били…

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня

я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери… Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания…


Христосъ
Воскресе!

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение…

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к

этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

1894




ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКЪ

Иван Бунин

На чужой стороне

На вокзале не было обычной суматохи: наступала Святая ночь. Когда прошел курьерский девятичасовой поезд, все поспешили докончить только самые неотложные дела, чтобы поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чистое и в семье, с облегченным сердцем, дождаться праздника, отдохнуть хотя ненадолго от беспорядочной жизни.

Полутемная зала третьего класса, всегда переполненная людьми, гулом нестройного говора, тяжелым теплым воздухом, теперь была пуста и прибрана. В отворенные окна и двери веяло свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик Спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним, по золотому окладу двигались полосы сумрака и света…

Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти приготовиться к празднику. Они сидели в темноте, на конце длинной платформы.

Они чувствовали себя где-то страшно далеко

от родных мест, среди чужих людей, под чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на «низы», на дальние заработки. Они всего боялись и даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои растрепанные шапки. Уже второй день томились они скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции (они уже успели прозвать его «кочетком») и строго объявит, когда и какой товарный поезд потянет их на Харцызскую. Со скуки они весь день проспали.

Надвигались тучи. Изредка обдавал теплый благовонный ветер, запах распускающихся тополей. Не смолкая ни на минуту, несся с ближнего болота злорадный хохот лягушек и, как всякий непрерывный звук, не нарушал тишины. Направо едва-едва светил закат; тускло поблескивая, убегали туда рельсы. Налево уже стояла синяя темнота. Огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездочкой. Оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь…

— Ох, должно, не скоро еще! — шепотом сказал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул.

— Служба-то? — отозвался другой. — Должно,

не скоро. Теперь не более семи.

— А то и всех восемь наберется, — добавил третий.

Всем было тяжко. Только один не хотел сознаться в этом.

— Ай соскучился? «А-а-а…» — зевнул он, передразнивая первого говорившего. — Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй!

— Будя, Кирюх, буровить-то, — серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу: — Парменыч, поди глянь на часы, ты письмённый.

Парменыч отозвался добрым слабым голосом:

— Не разумею, малый, по тутошним, все сбиваюсь: целых три стрелки.

— Да ай не все равно? — опять заметил Кирилл насмешливо. — Хушь смотри, хушь не смотри — одна честь…

Долго молчали. Тучи надвинулись, густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем красневший в ней огонь и на время так жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаха лежащего на животе Кирилла, и заскорузлые, изорванные полушубки двух других

пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку, попыхтел и покосился влево, на своего племянника. Тот дремал.

Длинные худые ноги его, завернутые в белые суконные портянки, лежали без движения; по очертаниям худощавого тела было видно, что это совсем еще мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе.

— Федор, спишь? — тихо окликнул его старик.

— Н-нет, — ответил тот сиплым голосом.

Старик ласково наклонился к нему и, улыбаясь, шепотом спросил:

— Ай соскучился?

Ответ последовал не сразу:

— Чего ж мне скучать?

— Да ну! Ты скажи, не бойся.

— Я и так не боюсь.

— То-то, мол, не таись…

Федька молчал. Старик поглядел на его худенькие плечи… потом тихонько отвернулся.


Христосъ Воскресе!
R&K
4697/1.

Уже и на закате стемнело. Контуры вокзальных крыш едва рисовались на фоне ночного неба. Там, где оно сливалось с темнотою земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. Осторожно лязгая колесами, прокатился мимо платформы паровоз, осветил ее красным отблеском растопленной печки, около которой, как в тесном уголке ада, копошились какие-то черные люди, и все опять потонуло в темноте. Мужики долго прислушивались, как он где-то в стороне сипел горячим паром.

Потом издалека гнусаво запел рожок. Из темноты и из-за разноцветных огней выделился треугольник огненных глаз. Он разгорался и приближался медленно-медленно, а за ним тянулся длинный, бесконечно длинный товарный поезд; подвигаясь все слабее, он остановился и затих. Через минуту что-то завизжало, заскрипело, вагоны дрогнули, подались назад — и замерли. Раздались чьи-то громкие голоса и тоже смолкли. Кто-то невидимый нес фонарь, и светлый круг, колеблясь, двигался по земле, под стеной вагонов.

— Тридцать четыре, — сказал один из мужиков.

— Кого? Вагонов-то? Боле будя.

— А может, и боле…

Федька облокотился на руку и долго глядел на темную массу паровоза, смутно освещенную посередине, слушал, как что-то клокотало и замирало в нем, как потом он отделился от поезда и, облегченно и тяжело дохнув несколько раз, ушел в темноту, отрывистыми свистками требуя пути… Ничто, ничто не напоминало тут праздника!

— Я думал, они хушь в праздник-то не ходят, — сказал Федька.

— Ну да, не ходят! Им нельзя не ходить…

И послышались несмелые предположения, что, может быть, с этим-то поездом их и отправят. Тяжело в такую ночь сидеть в темноте товарных вагонов, да уж все одно, лучше бы отправили!

Старик заговорил о Харцызской. Но впереди была полная неизвестность: и где эта Харцызская, и когда они приедут туда, и какая будет работа, да и будет ли еще? Вот если бы земляков встретить, которые направили бы на хорошее место! А то, пожалуй, опять придется сидеть где-нибудь в томительном ожидании, запивать сухой хлеб теплой водой из вокзальной кадки. И тоска, тревога снова овладела всеми. Даже Кирилл заворочался, беспокойно зачесался, сел и опустил голову…

— И чего тут остались? — послышался один

неуверенный голос. — Хушь бы в город пошли — авось всего версты четыре…

— А ну как сейчас велят садиться? — угрюмо ответил Кирилл. — Его пропустишь, а там и сиди опять десять дён.

— Надо пойтить спросить…

— Спросить? У кого?

— Да у начальника…

— И правда, пожалуй…

— Да его теперь небось нету…

— Ну, кто-нибудь за него…

— Служба-то и тут такая же будет, — проговорил Кирилл по-прежнему угрюмо.

— Не такая же, короткая, сказывали, будет… И разговеться тоже нечем…

— А как совсем пойдешь Христа ради?

И все с тоской поглядели на вокзальные постройки, где светились окна, где в каждой семье шли приготовления к празднику.

— Дни-то, дни-то какие! — со вздохом, слабым задушевным голосом сказал старик. — А мы, как татаре какие, и в церкви ни разу не были!

— Ты бы теперь уж на клиросе читал, дедушка…

Но старик не слыхал этих мягко и грустно сказанных слов. Он сидел и бормотал в раздумье:

«Предходят сему лицы ангельстии со всяким началом и властью… лице закрывающе и вопиюще песнь аллилуия…»

И, помолчав, прибавил увереннее, глядя в одну точку перед собою:

«Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследиши во всех языцех…»

Все упорно молчали.

Все думали об одном, всех соединяла одна грусть, одни воспоминания. Вот наступает вечер, наступает сдержанная суматоха последних приготовлений к церкви. На дворах запрягают лошадей, ходят мужики в новых сапогах и еще распоясанных рубахах, с мокрыми расчесанными волосами; полунаряженные девки и бабы то и дело перебегают от изб к пунькам, в избах завязывают в платки куличи и пасхи… Потом деревня остается пустою и тихою… Над темной чертой горизонта, на фоне заката, видны силуэты идущих и едущих на село… На селе, около церкви, поскрипывают в темноте подъезжающие телеги; церковь освещается… В церкви уже идет чтение, уже теснота и легкая толкотня, пахнет восковыми свечами, новыми полушубками и свежими ситцами… А на паперти и на могилах, с другой стороны церкви, темнеют кучки народа,

слышатся голоса…

Вдруг где-то далеко ударили в колокол. Мужики зашевелились, разом поднялись и, крестясь, с обнаженными головами, до земли поклонились на восток.

— Федор! Вставай! — взволнованно пробормотал старик.

Мальчик вскочил и закрестился быстро и нервно. Засуетились и прочие, торопливо накидывая на плечи котомки.

В окнах вокзала уже трепетали огни восковых свечей. Золотые иконы сливались с золотым их блеском. Зала третьего класса наполнялась служащими, рабочими. Мужики стали на платформе, у дверей, не смея войти в них.

Поспешно прошел молодой священник с причтом и стал облачаться в светлые ризы, шуршащие глазетом; он что-то говорил и зорко вглядывался в полусумрак наполнявшейся народом залы. Зажигаемые свечи осторожно потрескивали, ветерок колебал их огни. А издалека, под темным ночным небом, лился густой звон.

«Воскресение твое, Христе спасе, ангели поют на небеси…» — торопясь, начал священник звонким тенором.

И как только он сказал это, вся толпа завол-

новалась, задвигалась, крестясь и кланяясь, и сразу стало светлее в зале, на всех лицах засиял теплый отблеск восковых свечей, загоревшихся во всех руках.

Одни мужики стояли в темноте. Они опустились на колени и торопливо крестились, то надолго припадая лбами к порогу, то жадно и скорбно смотря в глубину освещенной залы, на огни и иконы, подняв свои худые лица с пепельными губами, свои голодные глаза…

— Воскресни, Боже, суди земли!

1893

Лирник Родион

Сказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда Бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховіями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашеных яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз вилось над очеретом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.

На юг, в Никополь и дальше плыл я на этом «Олеге», очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышовых зарослей и полноводных затонов. В первом классе «Олега» никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтораста хохлушек, плывших куда-то на весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко; днем они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.

Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.

По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот она переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой — юбку, обтягивая ею ноги. А за нею

все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи и закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на пояснице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девица гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно, вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и будто беззаботно побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косогоров, слившихся с затонами, с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и однообразно шумел колесами… И вот вполслуха, стройным хором запели хохлушки, выспавшиеся за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего

меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рожденье, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристрявший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, Бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.


Христос Воскресе!
4375/76

Слепые — народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псальмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую Божью Матерь — и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и

матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры — «ой ты, сыну, мій и сын, ты, дытына моя!», — долго не запевали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили. Родион вполголоса заныл первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне, — «край Дунаю трава шумить» — и вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатились со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы, среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском — многие впервые побывали на этом пути в Киеве — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь,

медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную, степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу — о сироте и о мачехе, — мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

— Ой, зашуміли луги ще й быстрії рікі, — вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

— Померла матинка, зосталися діти…

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу — сердцу и беспощадному, и жалостливому, — какова она, эта сиротская доля.

Отец, сказал он, тот утешится:

— Отец жону знайде, буде в парі жити…

А сиротам никто не заменит родной матери:

— Нещасні сіріткі — ті підуть служити…

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая самая старательная работа:

— Що сірота робить — робота ні за що, а люді говорять: сірота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженой, босой, в грязной сорочке и старенькой плахте девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снискать милость мачехи — но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом вступиться за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности. И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

— Ой пішла сірітка темнимі лугами — вмива-

еться сірітка дрібнимі сльозами. Не могла сірітка мачусі вгодити — ой, пішла сірітка по світу блудіти: по світу блукати, матінки шукати…



Сын народа, не отделяющего земли от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим Господом:

— Тай зустрів її Христос, став її питати: «Куди йдешь, сірітка?» — «Матери шукати». — «Ой, не йди, сірітка, бо далеко зайдешь, вже ж своеі матінки й по вік не знайдешь: бо твоя матиика на високій горі, тіло спочиває у смутному гробі…»

С великой нежностью, но все так же просто передал он горькую «розмову» сироты с матерью, — точнее говоря, с «янголем» (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

— Ой, пішла сірітка на той гроб ридати: чи не обізветься в гробу ридна мати? Обізвався янголь, як рідная мати, та й став її стихо, словесно питати:

– Хто це гірко плаче
На мойому гробі?
– Ох, це я, матинко:
Прийми мени к собі!
– Насипано землі,
Що вже ж я не встану,
Сліпилися очі,

Вже й на світ не гляну!
Ох, як тяжко, важно
Каміння глодати:
А ще тяжче, важче
Тебе к собі взяти!
Нема тут, сірітка,
Ні істи, ні піти.
Тільки велів Господь
В сирій землі гніти!
Пішла б ти, сірітка,
Мачусі б просила:
Може б змілувалась —
Сорочку пошила...

И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок ангелу-матери:

— Я ж її просила, я ж її годила. А злая мачуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми вздохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг громко и радостно возвысил голос и развернул

уже иные картины — картины Христова суда, его возмездия:

— Посилає Христос-Бог Янголів от себе, — сказал он торжественно, чистым и звонким голосом. — Візьміть ту сірітку до ясного неба, посадіть сірітку у світлому раю, у Господа Бога, у честі і славі!

И со скрежетом и звоном лиры далеко разлил свой зазвеневший от радостного гнева плач:

Посилає Бог з пекла
По злую мачуху,
По злую мачуху
І по її духу:
Підніміть мачуху
У гору високо,
Закіньте мачуху
У пекло глибоко!

Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обычным голосом, без лиры:

— Слухайте ж, люде: хто сіроти має, нехай доглядає, на путь наставляе.

И, сказав, уже не нарушил молчания ни единым добавлением. Только долго покрывал сказанное однообразным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Всходила большая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне. Тускло золотились под луной дальние чащи черных камышей. Широкий золотой столб погружался в зеркальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лунный свет, начали сладострастно, изнемогая, стонать в них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, «Олег» все поворачивал; и тянуло то теплом, то сыростью, гнилью — весною, плавнями. Только крупные лучистые звезды остались в небе, и дым из трубы поднимался прямее, выше…

А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по несколько раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то сяк, кое-что улучшая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятаков. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.

Капри. 1913



Последняя весна

I

Шестая неделя, а еще совсем зима.

Встал в пять часов, оделся и вышел из дому. Какая радость, молодость, этот предрассветный час! Валенки, полушубок — все счастье. Еще ночь, глухо и снежно. В темном небе только чудится рассвет. Первый сладкий вздох свежестью, когда вышел на крыльцо. Пахнет новым снегом. Как неживые поют по всей деревне петухи.

После обеда ездил к селу Знаменскому. Сани с круглым задком, набитые старновкой, ёкает селезенкой крепкий пегий мерин. Поля очень белы, их белизна, сливаясь с бледно-серым небом, погружает в оцепенение. Вдали все смутно, зыбко. Черно сереют инеем леса.

В Знаменское заехали с задов. Глушь, пустота, все занесено снегом. Огромные горбы, сугробы между избами и пуньками. Въехав в село, сбились, не знали, по какой дороге ехать назад. А дело уже к сумеркам, стало холодать, леса вдали еще больше засерели изморозью, мерин весь оброс инеем… Наконец из-за сугроба, из маленькой

черной двери потонувшей в снегу избы, вылез мужик и, не проваливаясь, в разбитых валенках, перешел по сугробам к нам. Узкая рыжая борода, тонкий восковой нос, легкий армяк и ореховая (из лошадиной шкуры) шапка. Подойдя, сперва внимательно оглядел пестрыми глазами лошадь, сани, нас, потом не спеша сказал мне:

— А ты, государь милый, не тут едешь. Тут дороги нету. Табельная дорога там. Поезжай за мной…

И повел лошадь, переваливая нас с сугроба на сугроб…

Вечером пошли на Прилепы, в господское поместье, арендуемое несколькими семьями мужиков. Огней в деревне уже нет — только в двух-трех избах сонные, притушенные лампочки. Морозно, душисто.

В поместье огонь только у Сергея Климова. Над избой хмуро сереют в темном небе высокие деревья. Обступили, грубо забрехали собаки. Хлопнула дверь, вышел Федька.

— Не спят еще?

— Никак нет.

— А мы к Тихону Ильичу.

— Милости просим.

В избе теплая густая вонь, пар от мокрых ве-

тошек из лоханки, под ногами чавкает мокрая, с грязью солома. Лубочные картинки в бревнах стен, потные. С печки торчат, глядят головы мальчишек. Невестка Тихона Ильича стирает в корыте белье, внучка, девка лет пятнадцати, собирается спать, перекрывает платок, стоит в одной суровой рубахе. Сам Тихон Ильич, согнувшись, сидит на печи, упершись в нее ладонями, спустив над хорами, на которых спят другие мальчишки, ужасные ноги-палки в старых портках. Лицо бледное и опухшее, борода висит, глаза текут слезливым блеском. Стал говорить о смерти, утверждать, что вот-вот умрет и что ничуть не боится.


Христосъ
воскресе!

Заговорили о войне, Федька и баба стали хвалить заграничное житье, о котором рассказывают пленные. Вот, например, ученье в школах — у нас и у немцев… У нас все учительницы, а их никто не слушается — «и что они могут знать?»

Тихон Ильич слушал, склонив голову, потом сказал:

— Все пустое. Нехай воюют. Спокон веку воевали и опять будут воевать. И ученье это ни к чему. А вот помереть Великим постом, особливо на Страстной, либо всего лучше в Светлый день — вот это, господа, не всякому Бог дает такую радость…

II

Серо, холодно.

Шел по дороге за деревней, по задворкам. Под лозинками стоит Мотька, скучный, недовольный. В руках одностволка — стрелял на лозинках галок. Двух убил наповал — неподвижно лежат на сером снегу у его ног, третья сидит поодаль, прижалась к земле, распластав перебитое крыло, глядит блестящими переливающимися глазами.

— На что ж ты их бьешь?

Мутно усмехнулся:

— Учусь. На войну хочу проситься.

— Почему?

— А что ж тут сидеть?

— А не боишься, что убьют на войне?

— Ну что ж, пускай убивают. Авось нас, молодых, и так немного осталось. Да я и сам немало перебью, покуда убьют…

III

Нет, уже весна.

Нынче опять ездили. И всю дорогу молчали — туман и весенняя дремота. Солнца нет, но за туманом уже очень много весеннего света, и поля так белы, что трудно смотреть. Вдали едва рисуются кудрявые сиреневые леса.

Около деревни перешел дорогу малый в желтой телячьей куртке, с ружьем. Совсем дикий зверолов. Глянул на нас, не кланяясь, и пошел напрямик по снегам, к темнеющему в лощине леску. Ружье короткое, с обрезанными стволами и самодельной ложей, выкрашенной суриком. Сзади равнодушно бежит большой дворовый кобель.

Даже полынь, торчащая вдоль дороги, из снегу, в инее; но весна, весна. Блаженно дремлют, сидя на снежных навозных кучах, раскиданных по полю, ястреба, нежно сливаются со снегами и

туманом, со всем этим густым, мягким и светло-белым, чем полон счастливый предвесенний мир.

IV

Легкий мороз, и пригревает солнце.

На реке, возле обмерзлых прорубей, бабы. Среди них Катька. Лапти, под ватной курткой круглятся груди. Мила, улыбнулась нам. И она, и бабы: «Ишь шатаются, ходят! Их и на войну не берут!»

На горе, под барским гумном, греется на солнце белый в розовых пятнах бык. Он стоял на фоне неба, и я засмотрелся, какой приобретало оно от быка густой сине-лиловый цвет. Очень хороши были и старые темно-зеленые ели под скатом сада.

Вечером в Полевое. От Выселок шли пешком, ведя мерина на поводу: решили целиком выбраться к усадьбе. Было далеко видно. На западе только что село в огненных тучках солнце, и тучки быстро гасли, туманились; на востоке небо мертвело, становилось гуще, сизее, а снега стали плоски, бледно позеленели…

Когда подъезжали к усадьбе, совсем свечерело, снега и белые шапки крыш резко выделились в последнем свете от заката.

В доме было темно, в прихожей краснела, топилась печь. Грусть зимнего вечера, снегов, пустынности, одиночества… Пили чай, хозяин говорил: к Пасхе народ «обязательно» ждет мира.

Когда вышли — лунная ночь. Половина блестящей луны, прямые тени голых деревьев, среди них, на снегу, сверканье драгоценных камней; тень от дыма из трубы дома. За садом, в светлом пустом поле, одинокий обмерзлый стог снега.

V

Страстной понедельник.

Все мокрое, везде тает, везде бегут ручьи. Бугры в деревне оголились, на реке свинцовые наливы, поля вдали траурные, пегие; чернеющие прогалины — как черные острова в белом снежном море.

С большим трудом шли по улице — грязь непролазная. Весенний сырой ветер крепко дует в голых лозинах, а на них немолчно орут только что прилетевшие грачи — орут важно, победно и вместе с тем радостно, бестолково, нестройно. Ни с чем не сравнимое чувство — слышать их в первый раз после шестимесячной зимней смерти!

Зашли к Пальчиковым. Старик сидит на лавке и вяжет веревочные лапти. Мирное, смиренное, ласковое лицо:

— Доброго здоровьица, господа хорошие.

Синеглазая Анютка, с полнеющей грудью под замашной рубахой, работает с матерью за ткацким станом. Машка сидит у окна на лавке, прядет. На полу, на мокрой и грязной соломе, несколько овец с только что окотившимися, кудрявыми и точно облизанными ягнятами. Возле печки, за дежой с тестом, прикрытой старым армяком, лежат, распустив розовое брюшко, два поросенка.

Машка покосилась на старика:

— А ты бы вот лучше спросил своих хороших господ, когда война кончится?

— А вот когда весь народ перебьют, тогда и кончится, — холодно и зло ответила ей мать из-за стана.

— Когда мы все с голоду помрем.

— Эх, бабы, — сказал я, — как не грех и не стыдно! Кто же это из вас умирает? Сроду никогда не жили так сыто. Сколько теперь денег в каждом дворе? Курицы на всей деревне не купишь ни за какие деньги, все сами едите. А уж про ваш двор и говорить нечего. Ну-ка, скажите, сколько у вас скотины?

Бабы не ответили.

Вошла старуха, тоже вся мокрая, в разбитых лаптях, в армячной куртке. И тоже посмотрела

на нас исподлобья.

— Что ж это ты, бабка, так вымокла? — сказал я. — А говоришь, больна.

— А что ж, не больна? Конечно больна. Того гляди околею.

— А ходишь вся мокрая. Ишь лапти-то какие. Чего ж башмаков не купишь?

— Купишь! Купил бы вола, да энта гола. Я их сроду не носила, башмаков-то твоих. Венчалась и то в лаптях. Это тебе хорошо, у тебя все есть.

— Да у меня ровно ничего нету. Одна голова на плечах.

— Голова! А на голове что? Ишь шапка-то какая! Как тебе простудиться! Ходишь, гуляешь… Напился чаю и гуляй. А и у тебя работа какая? Не мотай головой-то, не мотай. Ай неправду говорю?

— Конечно неправду.

— Ну, ну, молчи уж. А я вот как встала, так и пошла. Целый день шатаюсь, мокну…

И серо-голубые глаза налились слезами, покраснели. Я шутя обнял ее, поцеловал в лоб. Она через силу, строго улыбнулась, потом взглянула на меня уже совсем ласково и, отвернувшись, пошла к печке.

Пока дошли домой, распогодилось. Вечер розовый, сияющий. В доме тишина, вся прислуга

ушла в церковь. Долго сидел в зале, глядя на закат, который за черными ветвями сосен в палисаднике казался особенно ярким, розовым. Потом это розовое стало переходить в золотое…

VI

Ехали на розвальнях — с подрезами уже не проедешь.

День мрачный, пасмурный. Но тает — дорога рыхлая, только посредине твердая, горбатая, бурая от прелого лошадиного навоза, под которым лед.

Возле Крестов мерин провалился по брюхо. С великим трудом подняли, вытащили его, постояли, посмотрели кругом. Огромная, величаво-дикая картина уже совсем траурных полей под угрюмым, медленно идущим тучами небом. Сильный, по-весеннему свежий ветер с запада. Шум леса, чернеющего в полуверсте от Крестов, слышен даже тут. Между лесом и нами — бледный снег, темно-синие лысины обнажившейся земли. Мерин, пегий, старый, косматый, стоит, опустив голову, на высоком горбе дороги, смотрит на бутылочно-зеленую лужу ледяной воды, налившейся среди снега возле нее… Древняя Русь!


Христосъ Воскресе!

Возвращались по другой дороге, через Казаковку. При въезде в деревню помогали мужику, с которым случилась та же история, что с нами: утопил лошадь и розвальни в большой колдобине, полной воды и снега. Серая лошадь покато сидит в этом месиве, выкинула передние ноги, карабкается, цепляется ими и все обрывается, а мужик, еще более озлобленный нашей непрошеной помощью, не глядя на нас, бьет ее кнутовищем по голове, из которой смотрят совсем человеческие глаза.

— Вы бы лучше на войну шли, чем тут без дела околачиваться! — негромко и злобно сказал он нам сквозь зубы, дергая вожжи и работая кнутовищем.

Вечер очень темный. От темноты, грязи и воды со двора не выйдешь. Ходил по двору, от крыльца до каретного сарая. Где-то жалобно кричал филин.

VII

Чистый четверг.

Ветер, солнце, блеск. Ночью шел снег — теперь по грязи и по старому, серому блещет новый, пушистый. В полях, к горизонту, все серебристо.

К вечеру пошел дождь.

Вышли вечером — непроглядная темь, густой туман, сырость. На деревне, за рекой, ни одного огня. Там, где людская, мглисто-красное пятно света. В овраге к реке черный мрак, глухой, словно очень дальний шум воды, потрескиванье, движенье льда. Совсем как в «Воскресении». И вдобавок стали кричать петухи…

Потом петухи стали кричать реже, музыкальнее. А в саду, невдалеке, но не поймешь от тумана, где именно, стал кричать филин. Сперва лай, потом детский плач, хлопанье крыльев и клекотанье — с наслаждением, с мучительным удовольствием. Мы вошли в аллею и стали слушать. Деревья над нами казались страшными, огромными, хотя мы скорее чувствовали, чем различали их. Необыкновенно сладкий запах — мокрыми стволами и ветвями, корой, почками, туманом. Пошли к шалашу, пустому, одинокому, мрачному. Какой он был совсем другой летом, когда в нем жили караульщики! Всякое опустевшее жилье навсегда остается живым, думающим, чувствующим. Филин кричал совсем близко, резко, отвратительно, потом вдруг опять залаял, захлебнулся и быстро, гулко забил крыльями. Я хлопнул в ладоши и крикнул. Филин зашуршал, сорвался и стих. Немного погодя отозвался где-то

в соседнем саду — как будто бесконечно далеко…

VIII

Весь день дождь.

Иногда перестает, и тогда мокрый сад оживает, поют дрозды. В этих милых, как бы шутливых переливах такая весенняя прелесть, такая сладость жизни, надежд, счастья, что никакими словами не скажешь.

Вышел на крыльцо: стоит нищий старик без шапки, держит за ручку девочку в лохмотьях, в сопревших лапотках и в слинявшем синем чепчике.

— Подайте, Христа ради, батюшка… Мы военные, беглые, дальние.

Я дал старику, потом наклонился к девочке:

— Как тебя звать?

Молчит.

— Что же ты молчишь?

Молчит и смотрит ясными глазами. Сунул и ей в кулачок рубль — крепко, но все так же безучастно зажала. Распрямляясь, сказал:

— Эх, нехорошо мы живем!

Нищий удивился:

— Чем, батюшка, нехорошо? Какая же у вас нужда? Ваша бедность, батюшка, по-нашему,

великое богатство.

— Да нет, я не про то. Неправедно люди живут.

— Ну, родной, не нами это началось, не нами и кончится…

Падают уже только крупные капли — облака расходятся. Деревья благоухают мокрой корой, дрозды выводят свои переливы еще слаще и милее. Медленный, редкий звон. Мимо усадьбы идут на этот звон девки и бабы.

IX

Великая суббота.

В доме уборка. Вымытые полы, от которых пахнет теплой сыростью, застланы попонами. Моют, протирают окна. Аниска с Наташей, подоткнутые, потные, красные, уморились и потому ссорятся. Студент, теперь человек уже московский, приезжий, ходит, как посторонний, не знает, что делать, стоит на крыльце, смотрит через пенсне в поле. Дует ветер и сушит двор, сад… Предпраздничная печаль и пустота…



К вечеру все убрано, все чисто, в полном порядке. Ветер стихает. Расчистился, раскрылся золотисто-светлый запад. Воздух прохладней, резко пахнет землей с весенних полей. Проглянуло солнце — и в упор озаряет голый сад: блестят лиловые сучья, четко видны корявые стволы лип.

Когда солнце село, долго краснел закат, а над ним, выше, горела золотая Венера. Вместе с

сумерками потянулись из-под горы к церкви наряженные бабы, мужики в сапогах и пиджаках, все с белыми узелками в руках.

В десять пошел в церковную караулку. Накурено, тесно, вся караулка полна. Под образами сидит мужичок с маленькой женской головой, в черных крупных волосах. Одет в черный армяк, подпоясан черной подпояской. Все моргает, жмурится, приглаживает волосы. Рядом — мужик с масленой и как будто завитой бородой, с маслеными лазоревыми глазами, наладивший всего себя под благолепие. Потом старик — весь мшистый и могучий, осанистый, совсем из древности. Возле него баба, высокая, худая, с глазами гремучей змеи, в цветистом платье.

Разговор о раненых и беженцах:

— А на раненых подай да подай! Яиц им неси, холста дай, а нам из чего давать?

— На раненых? — спросил, жмурясь, мужичок. — На каких таких раненых?

— А нам из чего на них давать? У меня вот всей земли осьминник, а я сам-семь!

— А им, этим самым беглецам, откуда ж взять? — спросил мшистый старик.

— Они побогаче нас с тобой, — сказал мужичок.

— Дурак ты, брат!

— Я дурак?

Покачал, жмурясь и улыбаясь, головой:

— Беглецы! Почему же такое беглецы? Ихнее дело, значит, там не вышло, вот они и бегут сюда? Вот к нам прислали одного, он всех кур перевел, всех пожрал…

Потом разговоры о войне. Кто говорит, что наша возьмет, кто сомневается.

— А ну как не возьмет? — опять весело-ехидно сказал мужичок. — Его, врага-то, видать, нашими овцами не затопчешь!

На него дружно закричали. Он замолчал, но все крутил головой.

— Да, авось, мы не одни, — сказал мшистый старик. — Кабы мы одни, а то с нами Англия, Франция, дай Бог им здоровья.

Вошел Бодуля — пустой, бездельник, легкомысленный, — топнул лаптями:

— Нашего (царя) ни одна не возьмет! Наш все державы пройдет! Где ему, к чертям, немцу этому!

Кто-то с радостным удовлетворением, с кашлем захохотал:

— Вот он на Париж полез да завяз! Всю свою державу ранеными забил!

Благолепный мужик подхватил:

— Вот бы еще стражников туда, на фронт, согнать, они всю эту службу давно знают! А тут чего им сидеть!

Вышел в церковный двор. Темно, свежо. Небо темно-синее, сказочное от белых крупных звезд. В темноте кто-то уверенно говорил:

— Нет, это все брешут. Ничего после этой войны не будет. Как же так? Если у господ землю отобрать, значит надо и у царя, а этого никогда не допустят.

И кто-то резко отвечал:

— Погоди, и до царя дойдут. Что ж он весь народ на эту войну обобрал? Вон опять надо на Красную Горку рекрутов отправлять. Разве это дело? Вся Россия опустела, затихла!

X

Весенний вечер.

На деревне, возле Никитиных, народ. Отправляют солдата. Он в новых сапогах, в рубахе хаки. Стоит на крыльце со своей воющей и причитающей бабой. Обнял ее, уперся ей в лоб лбом и качается. Баба иногда отрывалась от него и кричала, как бы падая. Он молча смотрел на нее в упор злобными, мрачными глазами. Мать стояла

возле в полном оцепенении. Печник, стоявший в толпе с трубкой в зубах, с удобно расставленными короткими ногами, любовался всей этой картиной с бодрым любопытством, живыми, смеющимися глазами.

Потом из-за угла избы загремела телега, подкатила к крыльцу — рысью подъехал и остановился старик-отец. Он деловито стащил с крыльца сундук солдата, поставил его, ни на кого не глядя, в тележный ящик, в солому, солдат, быстро и внезапно обняв мать, сошел за ним, сел возле сундука и вдруг зарыдал, уронив на сундук голову. За солдатом полезла в телегу его баба и, падая в нее, стала кричать на всю деревню разными голосами. Старик озабоченно разобрал веревочные вожжи и, дернув лошадь, на бегу боком вскочил на грядку телеги…

Очень высокий малый в нарядной зеленой рубашке, стоявший среди девок с гармонией в руках и, очевидно, очень нетерпеливо ждавший, когда уедут, тотчас громко заиграл. Девки подхватили, «застрадали». Выгон впереди уже забелел — стал виден лунный свет, еще мешавшийся с зарей.

1915



Христосъ Воскресе!



Николай Вагнер

Яичко
(Педагогический рассказ)

I

В Великую пятницу собрались детки в кухню, около печки, в которой шипит, кипит, бьет белым ключом вода в горшке, а в воде лежат, варятся, красятся бережно завернутые, тщательно закутанные пасхальные яички.

— Я знаю, что мое будет лучше!.. Ты вот увидишь! — говорит толстенькая, пухленькая, но страшно нервная Маша.

— Ну, мы еще будем посмотреть! — говорит худенький Ваня, брат ее.

А Петя ничего не говорит. Он просто сидит тут же в кухне. Он думает, что ему стыдно заниматься такими пустяками, как крашенье яиц. Он ведь в четвертом классе классической гимназии! Однако удержаться от того, чтобы посмотреть, как красятся яйца, и он не мог. Искушение это он, впрочем, оправдывал тем, что он здесь в качестве эксперта и решителя, чье яйцо будет лучше: Маши или Вани?

Ваня не долго задумывался над своим яйцом.

Он выпросил у тети ярких шелковых лоскутков, надергал из них шелчинок и, обернув в них яйцо, завертел его в тряпки, обмотал черным шелком и опустил в горшок.

Другое дело было с яйцом Маши. Она хотела похристосоваться этим яйцом с дедом, с милым «дедой», который очень ее любит, всегда в каждый праздник дарит ей такие прекрасные игрушки.

И вот она все придумывала, как лучше выкрасить яйцо. И наконец порешила спросить у всех — и у горничной Даши, и у выездного Егора, и у прачки Алены, и у кухарки Степаниды, и у тети, — как лучше выкрасить яйцо. Горничная Даша сказала ей, что хорошо красят лоскуточки, и когда тетя дала ей лоскутков, то сама Даша нарезала их мелко-намелко.

Егор-выездной посоветовал красить шафраном.

— Ровно золотые будут яйца-то, — сказал он.

Прачка Алена посоветовала красить луком.

— Лучными перьями… — сказала она. — И дух такой хороший от воды будет.

Кухарка Степанида научила взять сандалу: синего, красного, всякого…

— Сварить, знашь, его и опустить туда яички…

А то можно просто обсыпать сверху яичко, обвязать тряпочками и так спустить в горшок… Страсть хорошо выходит!

Наконец, тетя посоветовала просто выкрасить березовыми листьями, причем сказала, что получаются хорошенькие зеленые яйца.

Маша все это приняла к сведению и, обложив яйцо лоскуточками, обсыпала сандалом, шафраном, обложила лучными перьями и березовыми листьями, обвязала тряпочками и спустила яйцо в горшок.

Ваня сильно потешался над таким методом…


Христосъ Воскресе!

— А ты бы, — говорил он, — еще и солью посыпала — авось они лучше выкрасятся… или щепочек бы набрала.

А Петя даже сделал пренебрежительную гримасу, которую он всегда делал, если видел что-нибудь бестолковое и несообразное.

Когда варились яйца, то все принимали в них участие, и даже Егор-выездной заглянул, как они варятся, и осведомился: положили ли шафрану? Но когда вода уже с полчаса варилась, то все отошли и детки остались одни… И чем сильнее варились яйца, чем бурливее кипела вода, тем серьезнее и сильнее задумывалась Маша. Она даже немножко побледнела.

— Что-то Бог даст! — думала она. — Будет ли хорошо яичко моему «деде»!

И вот пришла кухарка Степанида… Заглянула в горшок глазами «сведущего человека», спросила, сколько они варятся, и порешила, что пора их вынимать… Горшок вынули, поставили на стол… и собрались все — даже тетя пришла посмотреть, как выкрасились яйца и чье яйцо будет лучше.

Кухарка Степанида предварительно положила оба яйца в холодную воду — на самую короткую минутку, — потому что все горели нетерпением посмотреть скорее, как выкрасились яйца.

И кухарка Степанида наконец начала развертывать их. Яйцо Вани развернули первым: оно было отмечено красной шерстинкой.

Что же было это за яйцо! Просто прелесть!.. Бледно-серое, сиреневое, и по нем шли узоры в тон, жилки синеватые и темно-малиновые. Одним словом, это было самое изящное, мраморное яичко… У Маши сердце почти не билось. Руки дрожали в ожидании появления ее яичка.

Наконец развернули и его. Оно вышло все темно-малиновое, с неправильными угловатыми крапинками, точно порфировое. В некоторых местах, где были приложены чистые березовые листочки, так они и отпечатались; но вот какая вышла игра случая, а вы, вероятно, знаете, что нет в целом свете такого прихотника, который мог бы поспорить в этом деле с прихотливым случаем. Как раз на самой середине яичка вышел крест. Небольшой, неправильный крестик, но тем не менее и Степанида, и Даша, и Алена, и даже тетя ахнули, когда его увидали, а Алена даже перекрестилась.

А вышел крестик очень просто. В числе березовых листиков Маша, заторопившись, чтобы скорее завернуть яичко, положила целую веточку, с четырьмя листиками. Три листика прилегли

так, что один смотрел прямо вверх, а два листика отвернулись от него в две стороны — направо и налево; четвертый же листик отогнулся и почти прямехонько смотрел вниз. Все это было достаточно криво и неуклюже, но все остальное дополнялось воображением и крепкой верой… как говорила Алена, в то, что «Господь умудряет младенцев и руками их кладет славу свою». И все с каким-то благоговением смотрели на яичко, а горничная Даша, вручая его Маше, даже сказала:

— Смотрите, барышня, не разбейте! Это святое яичко…

Неудивительно после этого, что и сама Маша смотрела на это яичко с благоговейною радостью. Даже Ваня примолк перед этим яичком и конфузливо показывал всем свое простое серое, мраморное яичко…

II

Всю Великую субботу Маша провела в волнении. Во-первых, она не могла придумать, куда бы положить свое дорогое яичко. В комод? Пожалуй, кто толкнет его — и яичко разобьется, или Даша в нем рыться станет да выронит с бельем и яичко.

Положила его к себе за пазуху; но, продержав с полчаса, она вдруг чувствует, что яичко сильно

нагрелось. Ну а вдруг, думает она с ужасом, от теплоты крестик испортится и вся краска сойдет с яичка? Она вынула его, бережно поцеловала и ходила все время взад и вперед по комнате, держа его в руках и не спуская с него глаз. Она даже хорошенько не позавтракала и не пообедала от волнения…

Вечером, когда начало уже смеркаться, в кухню пришел старый дедушка Михей. Все дети знали его и тотчас же закричали на весь дом: «Лысый Михей пришел! Дедушка Михей — стой у дверей!»

Кличку ему дали потому, что он обыкновенно стоял у дверей, как его ни усаживали, и уверял, что он так и прозывается: «Дедушка Михей — стой у дверей!»

Михей был очень стар; ходил он чистенько, но весь в заплатах, так что, кажется, не было места на его худеньком кафтанишке, на котором бы не сидела какая-нибудь заплатка? — и даже трудно было сказать, какой цвет был у этого кафтанишка: не то серый, не то синий, не то бурый…

Дедушке Михею обыкновенно все давали что-нибудь, когда он приходил в дом.

На этот раз он привел с собой маленького внучка, мальчика лет восьми или девяти; но на взгляд

ему никак нельзя было дать более четырех или пяти лет: так он был миниатюрен. Крохотное его личико смотрело так покорно и тоскливо, большими голубыми глазами, а белые волосы, коротко обстриженные, так гладко, шелковисто прилегли к маленькой головке. На нем была вместо шубки старая кацавейка, в которой заячий мех был весь вытерт, да и сама она также выглядела «мраморным яичком» под пару дедушкиному кафтану.

Детки потому любили «дедушку Михея», что был он балагур, сказочник. Когда он приходил, то не только дети, все люди, но даже Егор-выездной приходил слушать «дедушку Михея».

Был он крепостной еще прадедушки, деда Маши, и хотя его и всю семью его отпустили на волю, но, по старой привычке, он всегда входил со страхом и трепетом в палаты его прежних господ.

— Ну что, «Михей — стой у дверей»? — осведомился Егор-выездной. — Зачем пожаловал?.. К празднику подачка понадобилась?

— Какая подачка, Егор Михайлыч? Нужда заставляет. От места-то мне отказали…

— От какого места?..

— А ведь я всегда на Масленой и Святой в балагане Малахаева «дедку» изображал…

— Ну!

— А теперь вот отказали. Говорят — голос у тебя слаб стал. Публика жалуется, не слыхать ничего… Что же, думаю… милостыню просить?!.

— Да ведь ты сапоги прежде ковырял?..

Дедушка Михей улыбнулся и махнул рукой:

— Все во тьме ходим, а я пуще. Ничего не наковырял! Каки сапоги?.. Глаза не видят… Вот теперь не знаю, как праздник Христов встречать будем… Дочурка Машурка хворает… Везде к празднику готовятся, а у нас на Велик день и есть нечего… Вари густо — не будет пусто! Нет ничего… Голодна кума — что денежна сума, придет сама, сведет с ума. Надень котомку, ступай вдогонку!.. Значит, за счастьем…

Все обступили дедушку Михея, все слушали, а впереди всех Маша со своим «святым яичком».

— Вон, — говорит дедушка Михей, — барышня-красавица уж яичко нарядное приготовила к праздничку, а у нас внучонку-Васёнку нет яичка!.. Где укупишь?! Ныне не то что головка, а оборыш, с духом — и тот по грошу яйцо… А крашено, так по пятаку дашь…

А внучонок-Васёнок стоял и пристально смотрел, ухватив обеими ручонками свою шапочку, смотрел на Машу — и она казалась ему «ангель-

чиком».

И Маша смотрела в его большие голубые глаза, и сердце у ней сжималось, на глаза навертывались слезы, и какой-то голос шептал: «Отдай ему яичко, отдай! Деда может купить яичек, а ему купить не на что… Он бедный мальчик — у него нет ни грошика, ни копеечки для Светлого Христова воскресенья».

Наконец что-то точно потянуло ее из всей силы к внучонку-Васёнку. Она быстро подошла к нему и, протянув ему яичко, сказала отрывисто, не глядя на него: «На тебе!..»

И тотчас же отвернулась, вся покраснела и, заплакав, выбежала из комнаты.

Все ахнули, а прачка Алена даже всплеснула руками и вскричала:

— Ах, матушки! Это Христово-то яичко!.. Отдай, мальчуган!.. Сейчас отдай!.. Я тебе лучше красное, золотое дам…



Но мальчугану, очевидно, захотелось иметь именно это яичко с крестиком, которое красила Маша. Он бережно засунул его за пазуху, а другой рукой ухватился за пестрый кафтан дедушки Михея и спрятался в его складках.

— Это святое-то яичко отдала! — изумлялась Даша. — Ведь это значит счастье из дому унести… — И она так свирепо посмотрела и на Васёнку, и на

его деда, а сама подумала про себя: «Вот шляется, попрошайничает, балагур поганый!»

А между тем Маша прибежала в детскую, уткнула нос в подушку и плакала, плакала…

III

И сама она не понимала, отчего ее слезы льются так неудержимо. Было ли ей жаль этого хорошенького мальчика, или жаль ей было ее доброго, милого «дедуню», которому теперь нечего будет ей подарить? А когда ушел «дед Михей — стой у дверей», то прибежали Ваня и Петя и начали ее корить, называть глупышкой, которая променяла дедушку на какого-то мальчишку.

Наглумившись вдоволь, братцы предоставили ее собственному горю… Маша до того плакала, что разнемоглась; принуждены были позвать дедушку и рассказали ему все, что случилось. Дедушка послал за домашним доктором, а своему камердинеру велел отыскать деда Михея и во что бы то ни стало выкупить яичко его внучки. При этом он разрешил подарить деду Михею на праздник десять рублей.

Но выкупить яичко оказалось не так-то легко. Мальчик не хотел ни за что его отдать. Наконец кое-как обманули ребенка и увезли яичко.

Дед уже спал, да и внучка также заснула. Ей стало легче. Деду отдали яйцо только поутру, в Светлое Христово воскресенье. А он тихохонько, на цыпочках подкрался к спящей еще Маше и положил ей яйцо на столик, а через час, когда она проснулась, дед вошел к ней и, подавая ей огромное яйцо, в котором был запрятан целый кукольный гардероб, сказал: «Христос воскресе!»

Маша начала его целовать и, всхлипывая, едва могла выговорить, что яичко свое она подарила внучонку-Васёнку!

— А это что же? — спросил дед и указал на яичко.

Маша взглянула и остолбенела…

Вечером у Пети с его старшим братом Николаем, его товарищем-гимназистом и дедом завязался длинный спор.

Дед уверял, что это лучшее, что есть в человеке: всегда следовать первому сердечному порыву.

— Она, — говорил он про Машу, — отдала мальчику все, что ей было в ту минуту дорого… Это высокая черта!..

— Таким образом, — возражал товарищ Николая, — вы противоречите первому этическому закону Спенсера…

— Какому-какому закону?! — допрашивал дед.

— А закону, по которому совершается развитие всех этических, то есть нравственных, явлений…

— Какой такой закон! Какой закон! Никогда не слыхал!.. — признавался дед.

— По этому закону, — объяснял докторально гимназист, — всякое элементарное этическое явление уступает место следующему, более разумному…

— Не слыхал, не знавал и знать не хочу ни ваших этических законов, ни вашего Спенсера, — прерывал дед. — Сердце мне говорит, что́ хорошо и что́ дурно, и для меня довольно!.. И я всегда следовал и буду следовать этому указателю…

Но Николай снова сворачивал спор на закон Спенсера и доказывал так основательно, дельно, длинно и скучно, что наконец дед преспокойно заснул в своем громадном покойном кресле.

1897(?)



Леха и Ксютка
(Рассказ)

I

Над речкой Пилёнкой, на крутом обрыве стояла часть большого села Вышнегорского. Другая часть его была расположена внизу, на самом берегу речки. Наверху жили более достаточные мужики. Там была хорошая каменная пятиглавая церковь, была базарная большая площадь, несколько деревянных лавок и лавочек, ямской двор и волостное правление.

Внизу жили мужички победнее — в покривившихся избушках, между которыми были наперечет новые, исправные избы, и между ними только одна двухэтажная.

Наверху жил Алексей Закромов, богатый мужик, жил в большой избе, с семью окнами в ряд, которую не грех было назвать целым домом. Жил он со своей женой Авдотьей Ивановной и маленьким пятилетним сыном. Этот сын — Алеша, или Леха, как его звали в семье, — был единственный из всех пятерых детей, которых схоронили Закромовы и которые умерли все в один месяц, в

заразный год, от скарлатины.

Внизу, на берегу Пилёнки, жил родной брат Алексея — Иван Закромов, беднеющий мужик, жил с женой и маленькой четырехлетней дочкой. У него, так же как у брата, было несколько детей, но все они умирали, не дожив до году, и только одна выжила, Аксютка — забавная девочка, толстая, румяная, с белыми волосами и светло-голубыми большими глазами. Девочка постоянно улыбалась, и при этой улыбке на румяных щечках являлись две глубокие ямки. В семье ее звали попросту Ксюткой. Так, говорили, короче и способнее.

Иван Закромов существовал изо дня в день. Голодал и холодал, но ни разу ни у кого не занял ни одной копейки.

— Лучше претерпеть, чем в долгу сидеть! — говорил он и не занимал даже у брата, которому не составило бы большой тяготы дать ему взаймы и десять, и сто, и даже тысячу рублей.

Жена его, Акулина Яковлевна, маленькая, худенькая, но бойкая бабенка, с добродушным лицом и кроткими карими глазками, была спорой, услужливой работницей на семью и постоянно смотрела за всем в доме, шила, мыла и все, насколько могла и умела, починивала и

подправляла.

Это была добрая, порядливая семья, за которой, несмотря на ее бедность, никогда никаких недоимок не бывало. Если случалась порой нехватка, то Иван голодал, продавал что-нибудь существенно необходимое, но подати вносил неуклонно — и твердил всегда при этом про себя:

— Бог придавит, Бог и отпустит.

Братья видели друг друга редко, и то больше в летнюю пору. Зимой же Алексею было трудно спускаться к брату с горы, а Ивану еще труднее было подниматься на гору. Да и незачем было всходить ему в «верхнее село», как называли эту верхнюю часть селения «вышнегорцы». Торговлей он не занимался потому просто, что торговать было не на что и нечем, следовательно, и торговая площадь ему была не нужна. В волостное правление он ходил редко — на мирские сходы, а в поля и луга шла дорога понизу и, обойдя село, поднималась полого на гору, длинным подъемом.



Если братья редко виделись друг с другом, то жены их встречались нередко, и Акулина Яковлевна чуть не каждый день забегала со своей Аксюткой к золовке и к брату-деверю Алексею Степанычу. Ее нисколько не тяготил подъем на гору с четырехлетней девочкой на руках. Если какой-нибудь день она не побывала в верхнем селе, то ей как будто чего-то недоставало и куда-то

тянуло. Была она бабенка не только юркая, но и общительная и страшная охотница потолковать и покалякать со всякой встречной словоохотливой товаркой.

С Алексеем Закромовым вместе жила его мать — старуха степенная, еще бодрая, хотя ей и шел уже восьмой десяток. Она в доме начальствовала и над сыном, и над невесткой, зато над ней самой начальствовал четырехлетний внучек Леха. Он делал из бабушки все, что хотел: «веревки вил и с маслом пахтал», и этому не могли воспрепятствовать ни мать, ни отец, так как оба они и весь дом были под началом у бабушки.

Леха был очень привязан к его «нижнегорской» двоюродной сестренке Ксютке. Три и даже четыре раза в неделю мать приносила ее к нему и нередко оставляла у Алексея Степаныча и золовки на целый день. Дети жили дружно, любовно и ссорились очень редко: Ксютка, веселая, вечно смеющаяся, не подавала никакого повода к ссорам. Если же такой повод порой случался, то Леха обходил его очень разумно и деликатно. Он никогда не говорил «не хочу», но всегда «изволь» и «на». Иногда Ксютка отнимала у него все игрушки: и полуразбитую глиняную посуду, и изломанную свистульку, и деревянную лошадь,

больше похожую на барана, чем на лошадь. Леха все сносил молча и терпеливо, только пыхтел немилосердно, раскрыв рот. На его высоком, выпуклом лбу не появлялось ни одной морщинки, и его густые светло-русые волосы расползались, по обыкновению, вихрами во все стороны, несмотря на постоянную заботу бабушки, которая усердно смазывала их коровьим маслом или смачивала квасом.

II

Один раз, Великим постом, на крестопоклонной неделе, случилась история, рассорившая обоих братьев Закромовых. Был сход, и на нем выборы — в головы. Явились две партии, сообразно двум кандидатам, и оба брата очутились на двух противоположных сторонах — друг против друга.

Одна партия, к которой принадлежал Алексей Закромов, желала иметь головой Якова Антипыча Забиркина, старого богатого мужика, у которого было три лавки и даже одна лавка называлась «галантерейным магазином». Забиркин имел сильное влияние на общественное мнение села Вышнегорского и мечтал забраться в губернский город и там открыть торговлю. Состояние свое он нажил сам, как обыкновенно нажива-

ют его деревенские кулаки и мироеды. Алексей Степаныч крепко старался, чтобы Забиркина выбрали односельчане в головы. Он и сам был бы не прочь занять эту должность, но, как мужик смышленый и толковый, он понимал, что лучше пропустить вперед Забиркина, а самому остаться пока за его спиной и орудовать.

— Выберем его в головы, так у нас, — говорил он, — пойдет не та дорога. Яков Антипыч все устроит.

Другая партия, к которой принадлежал Иван Закромов, твердо держалась старого головы, Семена Микитыча, или просто Микитыча, как его звали вышнегорцы. Он был прост и честен; все разбирал и устраивал по-божески. Притом был он церковный староста, то есть был не просто голова, а голова с почетом. Партия за Якова Забиркина уже несколько лет сряду пыталась провести его в головы. Но усилия ее постоянно разбивались об инерцию вышнегорцев.

— У нас, брат, есть Микитыч, — говорили они, — наместа на што-ти менять-то его?..

Алексей Степаныч хлопотал и суетился. Забегал то к тому, то к другому и в особенности старался в последние дни перед выборами. Сход был назначен на среду. Накануне схода он спустился к

нижним вышнегорцам и зашел к брату. Он застал его на дворе за починкой сохи.

— Что, брат, творишь? — спросил он, приподнимая меховую шапку с густых каштановых, гладко причесанных волос и смотря искоса на брата своими бойкими зеленоватыми глазами.

Он был красив лицом, хотя сильно портили его веснушки.

— А сам видишь что? Весна на загривке.

И при этом подумал: «Неспроста, видно, пришел милый братец Алексей Степаныч. Редкий гость!»

— Ты зашел бы ко мне, — говорит Алексей Степаныч. — У меня три сохи… У одной сошник-то совсем новый… Да и поручни тебе надо переменить… Это что?!.. — И он ткнул пальцем в совсем измочалившиеся поручни.

Брат ничего не ответил, он только перенял долото из правой руки в левую и развел руками.

Алексей Закромов покряхтел, помялся на месте и сказал:

— А завтра, брат, выборы…

— Знамо дело, выборы, — говорит Иван Закромов и надавливает из всех сил на рассохи, чтобы вогнать их в сошник.

Алексей Закромов что-то хотел сказать, но ни-

чего не сказал, только снял шапку и встряхнул головой.

— Теперича Микитычу завтра будет конец, — начал он тихо и вкрадчиво. — Конец его царствию… и аминь.

— Что так?.. Больно скоро… — говорит Иван. — Он еще мужик ничего… Мужик в силе… Дай Господи ему доброго здоровья и долгих лет.

— Здоров-то он здоров, — говорит Алексей, — да голова-то у него измочалилась… вот что твои поручни. Нам теперь надо голову с головой… Сам знаешь… Не сегодня завтра пройдет под боком у нас чугунка… Место бойкое… Торговое… Капиталы притекут большие. Тут нужно голову как следует… Со смыслом… со смекалкой… а уже Микитыча нам… того… надо на полку поставить.

— А кого же выбрать-то на место его?..

— Как кого? Да Якова Забиркина… Самый подходящий и настоящий голова… Смышленый… сообразительный… Самый… самый настоящий голова.

— А правду Господню он помнит? — строго спросил Иван и уставил свои большие темно-серые глаза на брата.

— Каку таку правду Господню?.. Тебе говорят о деле… торговом… обчественном… а ты правду

Господню приплетаешь.

— Да она, брат, везде… и в торговом деле, и обчественном… Третьего дня надо было магазин ставить… обчественный… Кто перешиб у Шмольковых постройку… да соорудил дрянь?.. Яков Забиркин…

— Ну! Да это он… точно… маненько… ошибся.

— В прошлом году был голод… Кому дали раздавать муку?.. А? Якову Забиркину… А он как роздал?.. Богачам да торгашам?! Тоже ошибся, видно…

— Эх, брат!.. Не нам судить…

— То-то — не нам!.. Судить-то не нам… а выбирать-то нам…

И спорили братья долго. Наконец от спора дело дошло до вздоров и до ссоры. Алексей Закромов тыкал брату в глаза — дурака. Иван Закромов кормил его неправдой и чуть не в глаза честил подлецом и мироедом. Оба красные, кричали, спорили, тряслись, кулаками размахивали. У обоих чуть не пена на губах выступила. И кончилось дело тем, что Иван Закромов выгнал брата. Так и сказал:

— Пошел вон!.. Ты мне не брат, а христопродавец!..

— Ну ладно!.. Погоди ж ты ужо… Фрязь чума-

зая!

И Алексей Степаныч вышел со двора и не помнил, как взошел на гору, и как пришел к себе, и как у него от сердца отлегло.

III

В сущности, он был не злой человек, но крайне вспыльчивый и обидчивый; так же как и брат его. Оба они смотрели на «дело обчественное» по-своему: Иван считал его выше всего и прежде всего, а Алексей думал, что оно само по себе, а свой карман прежде всего.

— Коли ты свой карман устроишь, — говорил он, — так и дело обчественное устроится… а то что же?.. Сам будешь бедствовать и других за собой в мурно потянешь… вон как мой брат Иван-дурак.

На другой день на мирском сходе ссора между братьями снова разгорелась, так что мирянам пришлось разнимать их и усовещивать.

Спорили, шумели и галдели без памяти, даже до сипоты и хрипоты, а выбрали все-таки Микитыча.

— Оно, — говорили, — спокойнее и безобиднее будет.

Прошла пятая неделя, а на шестой в понедельник жена Алексея Степаныча, Авдотья Ивановна,

немного простудилась. Ветер был сильный да студеный — накрылась она мужниным кафтаном и побежала к товарке за каким-то пустяшным делом. Туда она добежала скорехонько, а оттуда ветер был встречный да с дождем и снегом, с ног сшибал. В тот же вечер она свалилась. Бабушка с работницей Матреной натерли ее редькой с вином и солью. Уложили в постель. Но это лекарство не помогло. В ночь Авдотья начала бредить и на другой день лежала без памяти. Алексей Степаныч ездил в город за доктором, но доктор отказался ехать за недосугом. Больная промаялась еще дня четыре. Алексей Степаныч поднимал местную икону; но и это средство не помогло, и к концу недели, накануне Вербного воскресенья, Авдотья Ивановна отдала Богу душу.

Это было первое серьезное горе, поразившее Алексея Степаныча. Когда он в заразный год потерял почти всех детей, то он разделил это горе с женой. Он уговаривал и утешал ее, а она ободряла его, и вдвоем они размыкали горе. Смерть жены показала ему ясно, что все мы под Богом ходим, — и он как бы очнулся от обыденной жизни, ее дрязг, хлопот и расчетов. Тогда в опустевшей семье на первый план выдвинулся Леха. Бабушка как будто еще сильнее начала ухаживать за ним

— да и Алексея Степаныча потянуло всем сердцем к этому единственному, что осталось ему от семьи, как бы на память от любимой им Авдотьи Ивановны. При взгляде на Алеху у Алексея Степаныча что-то как будто щемило на сердце, и он был с ним особенно нежен и ласков.

«Сиротинка божья!» — думал он на другой день после похорон жены, сидя с Лехой на полу и разглаживая его спутанные волосы.

А Леха посмотрит на него так жалобно и серьезно и скажет тихо-тихо, по секрету:

— Мамка тю-тю! — и вздохнет глубоко-глубоко, совсем не по-детски.

На похоронах, в церкви, Алексей Степаныч издали видел брата, видел, как он прощался с покойницей. Он хотел подойти к нему, но удержался. Сцена у брата на дворе ярко встала в его памяти и захолодила сердце.

«Брат тоже называется… — подумал он, — а от себя чуть не по шеям выгнал — фрязь чумазая!» И гнев выбросил из его сердца всю братскую любовь и приязнь.

И вспомнил он с злорадством, как он выгнал от себя Акулину Яковлевну, когда она пришла к нему с Ксюткой на другой день после выборов, — выгнал тоже чуть не по шее.

— Ступай! Ступай с Богом! — закричал он на нее. — И не знай ни моего дома, ни двора… Коли брат мой от меня отрекся, то и я отрекаюсь от него… и от всех присных его.

Акулина Яковлевна ушла разобиженная — забежала по дороге к куме Савельевне и рассказала ей все, отвела душу.

— Ровно зверь какой, — говорила она, — накинулся на меня… Пошла вон! — кричит… Отрекаюсь, говорит, от брата и от всех присных его… Не пойду теперь я! Ни в жисть не пойду к ним… Господь с ним!..

Но на похороны, в церковь, она все-таки забежала проститься с покойницей.

IV

С самой болезни Авдотьи Ивановны тяжелое время наступило для Лехи. Он постоянно просился к мамке и Ксютке. Но мамка лежала в жару, а к Ксютке проситься запретил отец.

— И нишкни!.. И не пикни! — прикрикнул он на него. — А не то выброшу на улицу и съедят те волки.

Но Леха слишком был набалован бабушкой, чтобы послушаться этого приказания. С отчаянным плачем и ревом он непременно требовал,

чтобы несли его к Ксютке. Насилу удалось бабушке уговорить его.

Когда умирала его мать, он присмирел, как будто понимал, что совершается что-то необычное и серьезное. Но на третий день после похорон снова принялся кричать и орать. И отец, и бабушка уговаривали его, но никакие уговоры не помогали, и крик сильно раздражал отца. Наконец он не вытерпел и, схватив Леху, несмотря на протест бабушки, нашлепал его изо всех сил раздраженной мужичьей руки. Леха замолчал и надулся.

Влияло ли грубое это наказание на его психику, или произвело оно сотрясение в его мозгу, но только Леха как будто лишился языка и голоса. Его стало не слышно. Он сидел молча в углу по целым часам. Бросал все игрушки, которые давала ему бабушка, и не отвечал на ее расспросы и ласки.

В последние дни перед Пасхой о нем забыли. Забыла даже бабушка, вся погрузившаяся в печенье куличей и в крашенье яиц. Только вечером в субботу она вспомнила о нем и дала ему золотое яичко.

— Ты этим яичком, — сказала она, — похристосуйся завтра с тятькой… Скажи ему: Христос воскресе, тятя!.. И дай ему это яичко. А он даст

тебе другое… тоже золотенькое, либо фарфоровое, все расписанное — тако красовитое… и скажет тебе: «Воистину воскресе!»

Леха схватил у нее яйцо и запрятал к себе под подушку.

— А ты не раздави его, — сказала бабушка. — Оно, пожалуй, и раздавится… Ты завтра им с тятькой похристосуйся… Понял?

Но Леха ничего не ответил, и бабушка снова обратилась к своим куличам. С добрый час она провозилась с ними. Затем начала собираться к заутрени — и все думала: «На кого я теперь оставлю Леху? Матери Авдотьи Ивановны нет. Царство ей Небесное, умерла, голубушка. Недельки с четырьмя деньками не дотянула до Пасхи Христовой. Дожила бы, прямо бы в Царство Небесное угодила… Царские двери были бы отворены… а теперь Бог весть где ее душенька обретается».

И она подошла к Лехиной постели. Думает: перекрещу голубчика, чай спит… Христов младенец…

Но постель была пуста. Лехи на ней не было…

Скричала Татьяну, но и Татьяна не знала и не видала, где Леха.

Обыскали весь дом. Лехи нигде не было.


ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

Как узнал об этом Алексей Степаныч — он совсем потерял голову. Метался как угорелый по всему дому. Обшарили снова все чердаки и чуланы, но Леха как в воду канул.

Не помня себя, Алексей Степаныч разослал всю прислугу — Татьяну и двух батраков — ко всем соседям, а сам побежал в церковь. «Наверно, он в церковь ушел», — думал он.

А церковь уже вся была убрана плошками и издали ярко горела и светилась. Народ наполнял ее, и толпился, и гудел вокруг нее. Все знакомые расспрашивали Алексея Степаныча: что с ним? На нем лица не было. Бледный как смерть, с блуждающими глазами, с растрепанными волосами, он метался по церковной паперти и спрашивал всех тихим дрожащим голосом:

— Братцы!.. Не видали ль вы, куда Леха… Леха… мой сбёг…

Но никто не видал Лехи. Алексей Степаныч вышел из церкви и бросился опять домой.

«Не упал ли он в подвал, — думал он, — или в выгребную яму? Сохрани Господь! Она у нас ведь не закрыта… Только тоненькая дощечка… поверх… Встал на дощечку, голубчик, и провалился… и захлебнулся…»

И он добежал до спуска и остановился.

В это время торжественно и гулко ударил колокол.

«Христос воскрес!» — подумал Алексей Степаныч и перекрестился.

И в то же самое время точно кто-нибудь его толкнул в сердце, и кто-то сказал ему тихо и внятно:

— Иди к брату!

И удивился Алексей Степаныч: при этих словах словно что-то потянуло его к брату Ивану — и никакого враждебного чувства к нему он не ощутил в сердце. Он только чувствовал, что это сердце неодолимо тянет его туда, к нему, и что там его Леха.

— Господи! — прошептал он, дрожа и крестясь. — Выручи, милостивый! Свечу тебе пудовую поставлю и с братом помирюсь.

И он быстро начал спускаться.

Грязь была страшная. Ноги его скользили и вязли чуть не по щиколку.

V

Он спускался, а сам думал:

«Куда робенку махонькому по этой грязище пройти!.. Не проползет он ни в жисть!..»

Но слабый огонек надежды теплился в испуган-

ном сердце, и вера поддерживала его.

Спустился он к нижнегорцам. Дошел впопыхах до избы брата, открыл двери и остановился.

В углу, на красном месте, за столом, покрытым чистой белой салфеткой, сидят Леха и Ксютка — так важно, торжественно, а брат Иван с Акулиной Яковлевной стоят напротив и молча любуются на них. На столе горят две свечки в железных подсвечниках, а в углу лампадка перед образом теплится.

И как только вошел Алексей Степаныч, то брат Иван повернулся к нему и с радостным «Христос воскресе!» обнял его.

А Алексей Степаныч едва мог прошептать: «Воистину воскресе!» — и заплакал.

— Ведь вот, — сказал он сквозь слезы, указывая на Леху, — маленький сверчок, а сколько горя наделал… Я уж думал, что совсем он погиб…

А Акулина Яковлевна тотчас же принялась рассказывать с подробностями, как к ним пришел Леха и как он «перво-наперво» похристосовался с Ксюткой — и золотенько яичко ей преподнес.

— И матушки светы!.. — дивилась она. — Нет на нем облику… Весь как есть в грязи перепачкан. Вся рубашонка и платок, что сверху был накрыт, и ножонки, и ручки… Мыла я его, мыла… и руба-

шечку ему Ксюткину надела.

И при этих словах Леха вытянул подол рубашки, точно всем хотел показать, что на нем не его, а Ксюткина рубашка.

— И как он это, матушки, яйцо-то не разбил, — дивилась Яковлевна. — Как, говорю, ты это прибрел к нам? А он показывает… Вот, мол, как — и на руках, и на ногах.

— На четверинках! на четверинках! — догадался Иван.

— И како это чудо! Господи милостивый!.. — говорила Яковлевна. — Ведь чуточку бы влево забрал, на спуске-то… Так прямо бы в овраг, и косточек его бы не собрали.

И в самое в это время дверь отворилась, стремительно вошла бабушка и бросилась к внуку со слезами на глазах…

В этот «велик-день», чуть ли не в первый раз в жизни, брат Иван обедал у брата Алексея — и оба беседовали мирно и разошлись мирно, хотя и оба были немного подвыпивши.

1901(?)



Игнатий Потапенко

Смоляные бочки

Много тайн пришлось узнать мне в течение долгой моей жизни, много видел я таинственных лиц, людей, оберегающих святыню души своей, укрывающих ее от постороннего глаза.

Но когда мне надо представить себе или изобразить другим человека, исполненного тайны, то мне неизбежно рисуется фигура величественной Анисьи, нашей кухарки, и ее лицо, каким оно бывало в Страстную субботу с самого утра и до захода солнца, когда наместо пряного, но несколько едкого запаха пасхального теста, господствовавшего в доме в первой половине дня, весь дом наполнял вкусный дразнящий аромат свежих, только что испеченных, еще горячих куличей и папушников.

Руки, скрещенные на груди, опущенные веки глаз, крепко сомкнутые уста с печатью глубокого молчания; а если уж необходимо проронить слово, то шепот, полный заманчивой тайны; тихая, хотя в то же время и важная походка; осторожное обращение с дверями, особенно комнат, близких к кухне, и превращение самой кухни в заповедное место, нечто вроде «неопалимой купины», к

которой простой смертный не должен приближаться, — вот образ Анисьи в Страстную субботу.

И все это ради того, чтобы пасхальное тесто, посаженное в цилиндрические формы из сахарной бумаги (тогда еще не делали их из металла), могло свободно и привольно подняться к небу, чтобы папушники вышли пышные и величественные, во славу нашего дома и самой Анисьи, в посрамление кухаркам всего мира.

Наконец все свершилось. В доме были все признаки того, что папушники величественно поднялись, благополучно испеклись в печке и уже их перенесли в столовую и уставили густо один около другого, чтобы дать им остыть.

И солнце уплыло далеко на запад и собиралось закатиться за пригорок, да и на лице Анисьи появились приметы оконченного блестящего дела. В глазах заблистала приветливость, поступь сделалась твердой и уверенной. С нею уже можно было разговаривать, и она мягким и добродушным голосом отвечала на вопросы.

Что же касается священного места — кухни, то она не только уже не была охраняема, но двери в ней были оставлены настежь, и дворовый пес по прозванию Шпак до половины просунул в них свое туловище и с величайшим любопытством

поводил в воздухе мордой.

Нельзя сказать, чтобы в то время я был так уж мал, что совсем не имел понятия о жизни. Мне было восемь лет, и могу сказать без хвастовства, что насчет многих предметов я имел весьма твердое убеждение.

Так, например, я очень хорошо знал, чем можно было смягчить сердце сурового человека по имени Влас, нашего работника, заведовавшего и конюшней, и водокачкой в саду, и выездными экипажами, и телегой, и еще многими другими вещами. Лицо этого человека долгое время казалось мне страшным и неприступным; особенно пугали меня его волосы — густые, жесткие, обильные, а также и борода, которую он едва ли когда-нибудь расчесывал, толстые губы и необыкновенно густые и длинные брови.

Характер у него был необщительный, и он редко с кем говорил, а если говорил, то какими-то полуфразами, бросая их в лицо человеку, как горсть камешков.

Но потом, присмотревшись к нему, я узнал, что он сам не так страшен, как его наружность, а главное — я узнал прямой и кратчайший ход к его сердцу. У него был сын Иванушка, которого он, должно быть, безумно любил. Ивашка жил

на деревне с матерью и изредка приходил к нам. И в такие дни Влас становился добр, доступен и мягок, старался всем услужить и всем сделать приятное. Он полагал, что частое появление Ивашки не нравилось господам, кого-то беспокоит, поэтому он очень радовался, когда Ивашку звали и позволяли ему бегать по двору целый день.

Давно я заметил, что Влас в этот день возился с чем-то таинственным в пустом сарае. Он заходил в него и накануне. Это меня удивило. Мне было достоверно известно, что сарай пуст. Он так и назывался: «пустой сарай». А между тем Влас часто заходил в него и оставался там подолгу. Видел я также, что туда он однажды пронес, кажется из кухни — не из той, где священнодействовала Анисья, а из другой, где варилось для рабочих, — что-то большое и черное, и после этого по двору прошел приятный запах твердой смолы, которую у нас называют «шевской смолой». Этот запах в связи с пребыванием Власа в сарае еще более раздразнил меня, и я решил проникнуть в тайну «пустого сарая».

Итак, солнце уже собиралось зайти, когда мне в голову пришла твердая мысль проникнуть в «пустой сарай». Как раз в это время Влас вышел

из него и, плотно притворив дверь, направился к конюшне. Я подбежал к нему.

— Влас, что ты там делаешь, в пустом сарае? — спросил я.

Влас посмотрел на меня сверху вниз, и его густые брови шевельнулись.

— Что там делать? — проворчал он. — Там нечего делать…

— А ты туда весь день ходишь.

— Туда нечего ходить! — сказал Влас и, очевидно избегая дальнейших расспросов, пошел в конюшню.

Но я тоже хорошо знал дорогу к конюшне и направился за ним. Здесь был полумрак, потому что конюшня освещалась только из двери, куда падало недостаточно света. Влас в это время стоял около серого мерина и разглаживал ему гриву. Он очень хорошо видел, что я стою на пороге, но, скользнув по мне взглядом, тотчас сделал вид, что не замечает меня. Между тем я уже в это время придумал свою хитрость.

— Завтра Пасха, Влас! — сказал я.

— Ну да, Пасха… А то что ж?

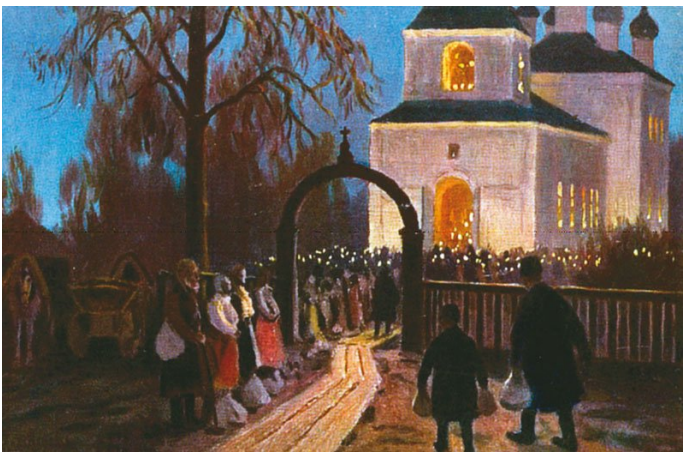
— А Ивашка придет? — самым невинным образом спросил я.

— Ивашка? Что ему тут делать?

И Влас прикинулся, что ему, в сущности, все равно, придет Ивашка или нет.

— Пусть он придет! — сказал я.

— Чего он тут надоедать будет?



— Нет, пусть придет... Я попрошу отца, чтобы позволил...

— Попросите? — спросил Влас и на этот раз

взглянул на меня более продолжительным взглядом.

— Я непременно попрошу… Я сегодня вечером попрошу… Я скажу, что мне хочется поиграть с Ивашкой… Ивашка славный мальчик! — прибавил я, желая окончательно завладеть сердцем Власа.

— Ивашка хороший! — сказал Влас, и я заметил, что толстые губы Власа слегка улыбнулись и в глазах его появилась какая-то мягкость.

С этого момента я мог уже считать, что дело мое выиграно; сердце Власа было открыто, надо было только пользоваться случаем. Я так и сделал.

— Влас, а что это там, в пустом сарае? — спросил я.

— А там… Да на что вам?

— Мне хочется знать…

— Вот какие вы… приставальщики!..

— Я никому не скажу, Влас…

— Да там… да что ж там… Там ничего и нет… — попробовал еще раз Влас отделаться от меня. — Пустой сарай, известно, и есть пустой…

— Нет, там что-то есть… Ты туда носил что-то черное, и смолой пахло…

— Смолой! Смола и пахнет смолой…

— Там смола?

— Ах ты, Господи! Да бочки там! Ничего, кроме бочек, и нет…

— Бочки? — с величайшим любопытством спросил я.

— Бочки!.. Смоляные бочки, которые ночью будут гореть около церкви.

— Гореть? Зачем?

— А вы разве никогда не бывали в церкви в пасхальную ночь?

— Нет, никогда не был…

Я действительно никогда еще не присутствовал при этом служении. Как-то всегда случалось, что я в течение целого дня, в субботу, собирался непременно быть там с матерью и отцом, но вечером нечаянно безнадежно засыпал, и меня переносили в постель и не трогали до утра. Но я не знал, что в торжестве принимают участие бочки.

— Как же они горят? — любопытствовал я.

— Да так и горят… Ярко горят… За двадцать верст видно, как они горят.

— А зачем они в пустом сарае?

— Так… Чтоб никто не видел… Потому секрет… Ваш папаша каждый год смолят бочки… Я и в прошлом году смолил их.

— Покажи мне их, Влас, — умоляющим голосом

сказал я.

Влас покачал головой, но, видимо, отказать мне не мог.

— Ну, идите уже… Я вам покажу.

И я пошел за ним в пустой сарай. Он притворил за собою дверь, и мы очутились в полнейшей темноте. Мне даже стало жутко.

Но Влас черкнул спичку и зажег свечу в фонарике. Тогда при тусклом свете фонаря я увидел целых четыре бочки. Это были самые обыкновенные бочки, каких я видел множество в своей жизни, которые почему-то — я и до сих пор не знаю почему — называются «сахарными бочками»; но они были совершенно черны и сильно блестели. Густой запах смолы наполнял сарай. На дне бочек, кроме того, был налит слой смолы, уже застывший, в целую четверть толщиной.

— Так это и есть смоляные бочки?

— Они самые. Как стемнеет, их повезут к церкви. Там их я поставлю за оградой, над самой речкой, и, когда в церкви батюшка скажет: «Христос воскресе» и певчие запоют громко: «Христос воскресе», я их тогда зажгу. Вот видите, здесь сверху пакля осталась, эту паклю я и зажгу, и бочки начнут гореть, а люди будут глядеть на огонь и радоваться!

— Влас, возьми меня с собой!

— Куда?

— А туда, где будут гореть бочки.

Влас усмехнулся и покачал головой.

— Вас не пустят. Где ж таки! Да вы и в церковь не попадаете: вы спать будете.

— Я? Ни за что. Я непременно буду в церкви и… и там буду, где бочки горят.

— Нет, не пустят вас… Как можно, чтоб вас пустили?.. А вы про Ивашку-то не забудьте папаше сказать? — напомнил мне Влас, когда я уходил из сарая.

Таково было мнение Власа, но я был совершенно другого мнения.

Впрочем, нет; собственно говоря, я был такого же точно мнения — я тоже очень хорошо знал, что меня не пустят туда, где будут гореть бочки. Ведь это за церковной оградой, над самой речкой… Мать скажет, что я непременно зазеваюсь и упаду в воду. Ей всегда кажется, что со мной должно случиться что-нибудь трагическое.

И тем не менее я был уверен, что буду присутствовать в том месте, где будут гореть бочки. Каким образом это должно было случиться, это была моя глубочайшая тайна.

Таким образом в этот день к двум тайнам,

которые хранились в сердцах Анисьи и Власа: у первой — в виде великолепно испекшихся папушников, у второго — в образе смоляных бочек, — прибавилась и третья тайна, хранившаяся в моем маленьком восьмилетнем сердце.

Наступил вечер. Я начал с того, что добросовестно выполнил свое обещание, данное Власу. Увидев отца, я попросил его, чтобы Ивашка завтра пришел к нам, заявив ему, что хочу играть с ним и что он славный мальчик.

— Пусть приходит! — сказал отец. — Играй с ним сколько хочешь!

— Но Влас боится позвать его.

— Чего же он боится?

— Боится, что Ивашка мешает.

— Чему же Ивашка может помешать? Ну хорошо, я сам скажу Власу, чтобы он позвал его.

Затем я твердо объявил, что поеду в церковь. Надо мной посмеивались, комически изображали, как я сяду на диван, нечаянно вздремну, меня перенесут в кровать, и мне будет сниться, что я в церкви.

Но я стоял на своем и очень удивил отца и мать, когда около полуночи оказался не только бодрствующим, но уже одетым по-праздничному. Оделся я при помощи моей старой няни Лукерьи,

потакавшей всем моим причудам, и притом так таинственно, чтобы никто не знал, чтобы это было для всех сюрпризом.

И вот меня повезли в церковь, и я стоял рядом с отцом и старался быть бодрым, хотя, если говорить правду, в те моменты, когда я ударял земной поклон, следуя примеру других, мне очень хотелось так и остаться, не поднимая головы, и тут же на месте забыться сладким сном. Но я овладевал собою и вставал.

И вот в церкви произошло движение. Молодые парни подошли к хоругвям и разобрали их по рукам. Священник вышел из алтаря и направился к выходу. Народ последовал за ним.

Отец взял меня за руку, и мы вместе со всеми вышли. Начался крестный ход вокруг церкви.

Но я все поднимал голову и смотрел в ту сторону, где за оградой была река, и все ожидал, не покажется ли через высокую каменную стену зарево от смоляных бочек. Но ничего не было видно.

Толпа народа сильно напирала на нас; меня разъединили с отцом. Я огляделся. Около меня не было никого из своих — ни отца, ни матери, ни няни. Я стал решительно пробиваться сквозь толпу, меня узнавали и давали мне дорогу.

Вот я уже у калитки; я вышел из церковной ограды. А в это время священник уже взошел на церковную паперть, и позади меня слышался его звучный голос: «Христос воскресе из мертвых!» Я бегом пустился вдоль ограды, в ту сторону, где была река, и вдруг остановился.

Четыре бочки, расположенные в недалеком расстоянии одна от другой на крутом берегу, над самой рекой, только что зажженные, ярко пылали. Огромные огненные языки поднимались к небу и красиво отражались в спокойной глубине реки. Множество ребятишек, девчонок, парней и девок толпились недалеко от них и, озаряемые этим пламенем, казались ярко-красными и как-то фантастически прозрачными. А от них падали длинные-предлинные тени, которые колебались, как бы извивались и достигали своими концами до церковной ограды и даже перескакивали через нее.



А Влас, в светлой цветной рубахе навыпуск, в больших сапогах и с космой волос на голове вместо шапки, величественный и таинственный, ходил между бочек, очевидно наблюдая за тем, чтобы они исправно горели. Он казался мне волшебником, способным одним движением руки, при помощи своих четырех бочек, осмоленных им в пустом сарае, озарить целый мир.

И так ярко было пламя, и так далеко бросало оно свет во все стороны, озаряя и извилистую реку, и два ряда камышей по ее берегам, и часть степи, и всю церковь с ее куполом и крестом, что мне, хотя и знавшему уже свет, но очень еще немного, казалось, что эти четыре смоляные бочки действительно освещают весь мир.

Много я потом в своей жизни видел ярко освещенных зал, блестящих иллюминаций, когда горели миллионы электрических огней и были пущены в ход все чудеса искусства, но ничто не оставило в душе моей такого яркого следа, как эти огненные языки, поднимавшиеся от четырех бочек, осмоленных Власом в нашем пустом сарае.

А за оградой раздавался громкий, радостный голос батюшки и целого хора, повторявшего за ним: «Христос воскресе из мертвых!»

Скоро меня нашли. Мать была приятно удивлена тем обстоятельством, что я не упал в реку и не погиб, и, по случаю такого счастливого события, мне было прощено мое своевольство. А на другой день Ивашка бегал у нас по двору, и я играл с ним, и Влас весь день был в превосходном настроении духа и христосовался со всеми, кто только появлялся во дворе.

1898

Третейский суд

I

Ссоры, собственно, не было, а был только спор, но голоса обоим противникам Бог дал такие громкие, что проходившие мимо дома селяне вздрагивали и крестились, думая при этом: не вышло ли у главного приказчика помещичьей экономии какого-нибудь несчастья?

Дело происходило в Страстной четверг, в квартире старшего приказчика Оглоблина. Сам Оглоблин, здоровенный малый, косая сажень в плечах, сидел за столом, угол которого, чтобы не портить скатерти, был прикрыт салфеткой. На салфетке стояла бутылка с водкой, в тарелке лежали пара соленых огурцов и краюха черного хлеба.

Оглоблин только что вернулся из конторы, где перед праздником выдавали жалованье. По дороге он зашел в винную лавку и купил водку для предстоящего праздника. Но когда он дошел до ворот своего дома, навстречу ему попался писарь Мармидонтов, и так как бутылка была в руках Оглоблина, на виду, то Мармидонтов не

мог удержаться, чтобы не зайти к Оглоблину. Таким образом и вышло, что бутылка, купленная для праздника, несмотря на Страстной четверток, была откупорена теперь же.

Оглоблин сидел на дощатом, ничем не обитом диване, у стены, а Мармидонтов — на стуле против него.

На Оглоблине был надет русский кафтан, с узкими рукавами, из синего сукна, и высокие сапоги. В этом виде он всегда бывал на работе и не успел переодеться в домашнее платье.

Мармидонтов же шел из церкви и потому был одет в благообразный черный сюртук, а на столе лежала его фуражка с черным бархатным околышем и с кокардой. На кокарду он не имел собственно никакого права, но так как никто против этого не возражал, то он носил ее «для придания веса своей особе».

По внешности он был противоположен Оглоблину. Тот прямо поражал своим здоровьем — краснощекий, мускулистый, несокрушимый силач, он носил длинные русые волосы и русую окладистую бородку. Мармидонтов же был худ, имел длинную шею с сильно выдавшимся кадыком, узкую, остроконечную голову и смуглый цвет лица, изборожденного следами оспы.

Квартира Оглоблина, полагавшаяся ему от экономии, состояла из двух комнат. Одна была выделена как чистая, для торжественных случаев. Там принимали гостей во время именин и всяких праздников. А другая — разделенная ситцевой занавеской на две — служила для остальных надобностей. Передняя часть была вроде столовой, а по ту сторону занавески стояла кровать, и там помещалось семейство.

Оглоблин был молодожен. У него всего год тому назад родился первый ребенок, который и пищал теперь за занавеской, а жена его принимала меры, чтобы он заснул.

Жена Оглоблина терпеть не могла, когда приходил к ним Мармидонтов. Муж ее был человек работящий, дельный, очень ценимый в экономии и никогда не пивший водки без компании. Компанию эту в деревне найти было не трудно, и она допускала, что люди сходятся и выпивают по праздникам. И так как все остальные тоже всю неделю бывали заняты своими делами, то так оно и должно было бы выходить.

Но писарь Мармидонтов попадался на глаза Оглоблину во всякое время. Как-то уж так выходило, что чуть не каждый день, когда Оглоблин возвращался с работы, непременно навстречу

ему шел Мармидонтов. А это уже обязательно означало выпивку. Мармидонтов мог пить во всякое время и сколько угодно. И как только он управлялся там, в волости, со своими делами! Должно быть, и дела-то все были такие, что их можно было делать и пьяному.

И она видела, что благодаря этому бездельнику ее муж просто спивается.

Вот и теперь Чистый четверг, люди готовятся идти вечером на Страсти Господни, говеют, постятся. И Оглоблин самым искренним образом купил водку для праздника. Она же ему это и поручила.

А вот попался-таки навстречу Мармидонтов, и бутылка раскупорена, уж они ее осушили до половины и, сидя друг против друга, спорят, орут во все горло, словно задались целью перекричать друг друга.

И из-за чего спорят? Из-за поросят. Всякому понятно, что в каждом порядочном доме к празднику бывает поросенок. Даже у мужиков во всей деревне не найдется ни одной сколько-нибудь приличной хаты, где не готовили бы к празднику поросенка.

Оглоблин хотя и не был хохлом по происхождению, но, попав в хохлацкую страну еще

мальчиком, усвоил все местные вкусы и обычаи, и даже говор у него стал хохлацкий. Его и называли просто Оглобля. Понятно, что и у них в доме к празднику бывал поросенок.

И вот спор: чей поросенок лучше? Ну может ли разумному и трезвому человеку прийти в голову подобная мысль? Все поросята рождаются одинаковым образом: от свиньи. Не было еще случая, чтобы поросенок родился от коровы. Ну и жарят их одинаково, на противне да на масле, с кашей. И вкус у них одинаковый, известно — поросячий вкус. Так нет же — орут, стучат кулаками по столу. Оглоблин говорит:

— Да ты, Мармидонт, — (и это уж значит, что Оглоблин выпил лишнее, потому что в трезвом виде он никогда не говорит писарю *ты* и называет его Ионой Степанычем), — ты, Мармидонт, много умеешь говорить, да все не то говоришь. Поросенок, он, конечно, как всякий поросенок, да только не в поросенке тут дело.

— А в чем же, скажи, пожалуйста? В тебе, что ли, или в персидском шахе?

— Ну и опять не то. Все не то говоришь. А дело в начинке. Понимаешь? Из чего состоит начинка, и как ее положить, и сколько масла и прочее — в этом весь смысл… понял?

— Совсем не в этом смысл, — возражал Мармидонтов, — а в том именно смысл, до какой степени его зажарить. Будь он там самой что ни на есть аглицкой породы, вот которые совсем без шерсти ходят, — а все-таки он должен быть зажарен до румяности, ни более ни менее. Вот. А это не всякий может. Ты его либо не дожаришь, либо пережаришь. А у меня жена секрет знает. И уж у нее поросенок всегда в аккурате… Самый что ни на есть до румяности… Ни более ни менее… Моя жена Анна Панкратьевна…



— Да что Анна Панкратьевна? — орал на это Оглоблин. — Знаю я очень хорошо Анну Панкратьевну… А у меня жена Матрена Григорьевна, так чем же это хуже? А дело тут не в жене, а в поросенке, — понял?

— Ни более ни менее, — согласился Мармидонтов. — Я и говорю про поросенка: тут главное — соблюсти румяность. И моя жена, Анна Панкратьевна, она соблюдает румяность.

— Да постой! — кричал ему прямо в рот Оглоблин. — Что такое румяность? Тут главное — вкус. Да ты вот что: хочешь пари? Давай держать пари. Вот сегодня четверг, а в воскресенье Пасха — вот мы и посмотрим, чей поросенок будет лучше. Вот твоя жена, Анна Панкратьевна, и секрет знает, а мой поросенок будет лучше. Идет пари?

— Ну так что ж. Идет.

— А на что?

— Да на что хочешь… Ни более ни менее!

— На мешок жита.

— Ну сказал… Тебе хорошо. Ты в экономии можешь жита стащить сколько угодно, так тебе это даром. А я где возьму?.. У меня земли нет. Я писарь, ни более ни менее. Я пером действую… Хочешь на два штофа?

— Все равно, и на два штофа… По рукам?

— Ни более ни менее.

Хлопнули ладонью о ладонь. Но писарь, как более хитрый, сейчас же спохватился:

— Постой: а как же узнать, чей лучше?

— Да, вот это вопрос: как узнать? — согласился Оглоблин.

— По-моему, — сказал писарь, — тут только одно: надобно устроить третейский суд.

— А что же это такое? — спросил Оглоблин, никогда не имевший дела с такими мудреными вещами.

— А это, брат, штука особенная. Это значит, ты выберешь своего, а я своего, а они уже промежду себя третьего, который называется суперарбитр… Ни более ни менее… Понял? Вот их и будет три, оттого он и третейский.

— Гм… Что ж, это хорошо. По доброй воле, значит. Кого же выбрать? Ну, я, положим, нашего булгахтера, Петра Никифоровича… Он едок хороший, понимающий…

— Да, промаху не даст. Только не булгахтер, а бухгалтер. Надо правильно говорить — ни более ни менее.

— Ну все равно, пусть будет булгалтер, — сказал Оглоблин, который вышел в люди «из простых» и самоучкой дошел до грамотности и положения

старшего приказчика. — А ты?

— А я возьму письмоводителя Мерлушкина, вот который у земского начальника служит. У него на праздниках всю неделю работы не бывает, так он может есть сколько угодно. А едок ведь тоже неплохой!

— Мерлушкин? Отлично, я знаю Мерлушкина… Он понимает…

— Ну а третьего они уже сами найдут… Только слушай, Оглобля, тут уж спорить нельзя. Что они скажут, тому, значит, и быть. Такой закон…

— Да ладно. Так и будет. Только уж я знаю, что скажут. Уж моя Матрена постарается.

— Ну, брат, моя Анна Панкратьевна ей сорок очков вперед даст, ни более ни менее…

И они долго еще спорили, пока солнце не зашло, и люди стали направляться к церкви слушать Двенадцать евангелий. Бутылка была осушена до дна. Оглоблин начал сильно склоняться к дремоте, а Мармидонтов, который, сколько бы ни пил, всегда оставался в полном разуме и твердо держался на ногах, — только поплотнее застегнул черный сюртук и отправился в церковь.

II

Бухгалтер Петр Никанорович и письмоводитель Мерлушкин отнеслись к делу с должной серьезностью. Оба они отлично понимали, что экспертиза поросят, которую они призваны производить, не будет иметь мирового значения и оттого, что пасхальный поросенок окажется вкуснее у писаря, чем у главного приказчика, или наоборот, в природе не произойдет никаких изменений.

Но оба они были люди добродушные и веселые, больше любители выпить и закусить и понимали, что возложенная на них обязанность представит большое развлечение на праздниках не только для них, но и для всего круга знакомых.

Круг этот представлял некую середину между низшим, который состоял из деревенских мужиков и рабочих экономии, и высшим, членами которого были помещики, очень редко, впрочем, проживавшие в деревне, управляющий с многочисленным семейством, земский начальник, купец Перетыкин, державший в селении две лавки, и батюшка.

Село Бахмутьево, в котором происходило действие, было довольно большое и представляло

собою в некотором роде центр, так как в нем жил земский начальник и из него командовал всей окружностью.

И когда экономический бухгалтер и письмоводитель Мерлушкин остановились на вопросе, кого избрать в суперарбитры, — слову этому, которого они раньше не знали, научил их Мармидонтов, — то мысли их как-то сами собою сошлись на одном и том же имени, и оба они почти одновременно произнесли:

— Дьяк Евлампий! Кому же другому быть? Ест за двоих, пьет за троих. Друг и приятель столько же Оглоблина, сколько и Мармидонтова, а следовательно, будет в обе стороны беспристрастен, и к тому же человек необыкновенной веселости.

Так и было решено, что третьим судьей будет дьяк Евлампий. Это был человек уже весьма почтенного возраста. Ему было лет под шестьдесят, но необыкновенно здоровая натура его удивительно стойко выдерживала все натиски, как он сам говорил, — не только внешних врагов, каковы годы и болезни, но и внутренних, каковы непомерное количество принятых им за всю жизнь яств и питий.

В его роскошной густой и кудрявой темной гриве только едва-едва стал серебриться белый

волос, а борода совсем была черная и, казалось, никогда не переменит своего цвета.

Голос у него был басистый, звучный. Когда он читал на клиросе, или пел, или просто разговаривал с человеком, то казалось, что в его толстом животе хранится как бы некий резонатор. Такие сочные, полные звуки вылетали из его уст.

Дьячком он остался, собственно, из-за любви своей к деревне. В жизни у него бывали случаи занять место протодиакона в городе или устроиться певцом в архиерейском хоре, но он от природы был склонен к свободной сельской жизни, а также не любил чинопочитания.

— В городе, — говорил он, — такая гибель начальства, что не приведи ты Господи. Каждый старше тебя, и каждому ты кланяйся. А тут, в деревне, я знаю себе одного отца настоятеля, да еще Господа Бога, и оба они добрые. Ну так мне и хорошо. Иной раз и выпьешь лишнее, и накуралесишь. Ну так что ж. И отец настоятель простит, и Господь Бог стерпит. А в городе все такие строгие. Сейчас выговор, взыскание, да в формуляр запишут, и еще на Страшном суде зачтут. А тут в формуляр не пишут, так, может, и на Страшном суде не вспомнят. Где уж! — там и без этого будет много работы.

И когда ему сообщили о третейском суде по поводу жареных поросят и о том, что он выбран суперарбитром, то он, несмотря на свой шестипудовый вес, прямо-таки подпрыгнул от веселости.

— Вот будет потеха, ей-ей! Двух поросят надлежит съесть. А сколько же при этом надо выпить!..

И когда в Страстную субботу он читал на клиросе, то мысли о предстоящем суде порядочно-таки мешали ему читать как следует. Он иное слово повторял не к месту, а другое пропускал, и старый настоятель, который, в сущности, любил его за веселый и беззлобный нрав, не особенно одобрительно посматривал на него из алтаря.

Наступили праздники. Первый и второй день никоим образом нельзя было использовать для заседаний третейского суда, так как суперарбитр с утра до вечера вместе с настоятелем обходили дома прихожан с праздничными песнопениями, собирая в тянувшийся за ними воз всякого рода съедобную добычу. Благодаря этому дьяк Евлампий к вечеру оставался без ног и не был пригоден к исполнению столь ответственной обязанности.

Между тем в обоих домах, у Оглоблина и у писаря Мармидонтова, готовились. Жены того и другого, с одной стороны — Матрена Григорьев-

на, а с другой — Анна Панкратьевна, обе были женщины трезвые и хозяйственные и терпеть не могли, когда их мужья предавались вину.

Но дело шло о празднике, когда уж так самим Богом устроено, что без вина никак не обойдешься, а кроме того — и это самое главное, — был затронут вопрос хозяйского самолюбия.

Почтенные дамы были между собой в самых наилучших отношениях, постоянно ходили друг к дружке в гости и сплетничали насчет остальных дам, в то время как все остальные дамы тоже сплетничали на их счет.

Они также делили разные хозяйственные секреты, так что Анна Панкратьевна, например, знавшая прекрасный способ заготовлять на зиму шинкованную капусту так, что она до самой осени сохраняла всю свою свежесть, без малейшего умолчания сообщила этот секрет Матрене Григорьевне, а жена приказчика, умевшая выпекать куличи по особому рецепту, открыла тайну этого рецепта жене писаря Мармидонтова.

То же самое, по всей вероятности, произошло бы и с поросячьей начинкой, и с искусством зажарить поросенка до румяности. Но спор, возникший между мужьями, поставил между дамами в этом отношении как бы стену. Обо всем

они свободно говорили, открывая друг дружке свои несложные души. Но как только речь касалась поросят, обе тотчас замолкали. И это понятно, так как у каждой был на этот счет свой секрет. В то время как жена писаря знала секрет о румяности, Матрена Григорьевна умела составлять совершенно особенную начинку. Каждой хотелось поддержать репутацию своего дома, своего кухонного искусства.

Разумеется, это было глупо, что их мужья вздумали состязаться в поросятах, и обе они осуждали за это своих мужей. Это было несерьезно для мужчин, занимавших почтенное положение в обществе. Но раз уже это так случилось, каждая считала своим долгом блеснуть и заткнуть за пояс приятельницу.

И они готовились к мирному состязанию.

Встретив Оглоблина в первый день праздника на улице, дьяк Евлампий сказал ему:

— Смотри же, Оглобля, на третий день у тебя будем делать первое заседание. Скажи Матрене Григорьевне, чтобы уж постаралась. Да и сам хорошей выпивки приготовь, потому суд будет сурьезный… А у Мармидонта мы уже на четвертый день позаседаем. Так решено. Закон, значит, такой!

Это, разумеется, он сам и решил, и все приняли это решение с удовольствием. Конечно, и в первые два дня люди ходили друг к другу в гости, ели и пили всласть. Но им недоставало веселого дьяка Евлампия, который обладал какой-то особенной, Богом дарованной ему способностью распространять вокруг себя беззаботную веселость.

После этого Оглоблин пригласил всех знакомых к себе в гости на третий день праздника.



III

Заседание происходило в горнице — чистой

комнате, которая и была предназначена для приема гостей.

Часов в семь вечера, когда в церкви отошла вечерня, начали собираться гости. Тут было человек двадцать, мужчин и дам, все народ трудовой, круглый год добывавший для своих семейств пропитание: приказчики, конторщики из экономии, служащие из канцелярии земского начальника, волостной старшина — все люди скромные, молчаливые, предпочитавшие слушать. Руководящими лицами были писарь, умевший говорить много и запутанно, и дьяк Евлампий, говоривший нескладно, но обладавший даром веселить общество.

Сперва пили чай и вели чинные беседы. Настроение только чуть-чуть приподымалось вишневкой, которую пили дамы, и ромом, который мужчины наливали в чай.

Но часов в девять засуетилась Матрена Григорьевна — молодая, рослая бабенка, совершенно под стать своему мужу, энергичная хозяйка, все делавшая сама, без всякой прислуги. На столе появились тарелки, вилки, ножи, стаканчики, вино, водка и множество закусок большею частью домашнего соления. Выпивали и закусывали.

Но вот на большом противне, том самом, на

котором он был изжарен, появился на столе поросенок.

— А, — воскликнул дьяк Евлампий, — вот и подсудимый! Но какой же он молодчина, просто даже и не знаешь, с какого конца он лучше. Ну, господа судьи, давайте судить.

Поросенок действительно имел в высшей степени привлекательный вид. Ростом своим и дородностью он напоминал своих хозяев. Кожа у него была розовато-прозрачная, а бока, очевидно набитые той самой таинственной начинкой, которою гордилась Матрена Григорьевна, так и манили разрезать их и заглянуть, что такое в них заключается.

Дьяк Евлампий пододвинул к себе поросенка, взял острый нож и опытной рукой начал разрезать его. Можно было подивиться его искусству необыкновенно аккуратно, даже с каким-то изяществом, отделять от туловища голову и ноги и проводить грань между ребрышками, и при этом так деликатно, что все оставалось на своих местах и поросенок, уже разрезанный на множество частей, для глаз производил впечатление цельного и нетронутого.

— Ну, — сказал дьяк Евлампий, — теперь, Господи, благослови, начинается суд! А кто же

секретарь? Почтеннейший Мармидонт, это твоя обязанность!

— Э нет, — сказал Мармидонтов, — я вроде как бы тяжущаяся сторона.

— Да что же, что тяжущаяся? Ты будешь ведь водку наливать, вот и все; ведь водка на всем свете одинаковая — казенная.

— А это правда. Водку, это я могу.

И Мармидонтов в качестве секретаря принялся усердно наливать всем в рюмки водку.

— Начнем, стало быть, с поверхности, а потом перейдем и к внутреннему содержанию. А ну, какова голова? Христос воскрес! — прибавил дьяк Евлампий, подняв рюмку над самым поросенком и опрокидывая ее в рот.

Все сделали то же самое, а затем начали брать с блюда поросенка и закусывать. Себе Евлампий действительно положил нечто от головы. Бухгалтер и Мерлушкин тоже взяли себе каждый по уху.

— Ну что ж, — промолвил дьяк Евлампий. — Видно, что голова по-свиньячему была умная. А вот посмотрим, каковы ножки. Эй, секретарь, действуй!

Мармидонтов усердно исполнял свои секретарские обязанности, наливая в рюмки водку. Дамы,

впрочем, скоро отстали и начали придерживаться белого кислого бессарабского вина.

От ножек был сделан переход к ребрам, потом к начинке, рюмки наполнялись с заметной учащенностью, а язык дьяка Евлампия двигался все свободнее. Начинка была жирная, сочная и действительно необыкновенно вкусная, благодаря чему требовалось особенно обильное возлияние.

— А вы, судьи, — говорил дьяк Евлампий, обращаясь к сидевшим по обе стороны его бухгалтеру и письмоводителю Мерлушкину, — кушайте с размышлением, потому приговор от вас потребуется.

Но судьи оба смотрели уже посоловевшими глазами. Головы их не отличались такой выносливостью, как у дьяка Евлампия и у писаря.

Поросенок был съеден дотла, и тогда перешли к другим яствам, которых на столе было изобилие.

— Одно скажу, — говорил дьяк Евлампий, — начинка действительно несравненная, и порося вообще предостойное, а только, само собою разумеется, ничего неизвестно. Может быть, у Мармидонта будет еще лучше. Дары Господни неисчислимы. Вот Матрене Григорьевне дан один дар, а Анне Панкратьевне, может, другой и еще превыше… Ведь вот вам, господа, хоро-

шо, — говорил он, обращаясь к гостям, — вы себе выпиваете и закусываете, а потом домой пойдете, спать завалитесь и, может, будете видеть сладостные сны. А нам, судьям, надобно думать да думать. Вон, примерно, Мерлушкин уже и теперь задумался… Вы полагаете, он спит? Э нет, как бы не так! Это он думает.

А Мерлушкин не только спал, а даже слегка всхрапывал.

Да и вообще удовольствия, какие могли предоставить своим гостям Оглоблины, были исчерпаны, и время заходило уже за полночь. Пора было и расходиться.

— А завтра, господа, все к нам пожалуйте, — заявил Мармидонтов гостям, когда они прощались с хозяевами.

На другой день была пирушка у Мармидонтова. Он жил при волостном правлении.

Большая хата сенями разделялась на две части. Справа было волостное правление, где стояли стол со скамейками по стенам и шкап с бумагами. По левую сторону сеней была комната, в которой жил писарь со своей женой. А в самых сенях, в глубине, был еще темный закоулок, который назывался «холодная» и в некотором роде играл роль места заключения для пьяных и буянов. В

случаях крайней необходимости им связывали руки и ноги и отправляли в «холодную», и здесь они проводили время впредь до вытрезвления.

Но по праздникам, когда у них бывали гости, они вступали во владение волостным правлением. Правда, действие это было самовольное и даже воспрещенное законом, но в селе никто особенно не заботился об исполнении законов, и писарь издавна смотрел на это, как на свое право. Да и, в сущности, никому это не мешало, так как по праздникам в волостном правлении никаких служебных действий не полагалось.

Туда переносились стулья, стол, за которым по будням происходили заседания сельского суда и чинились сельский суд и расправа, накрывался белой скатертью, появлялась посуда, бутылки, съестные блюда, и комната принимала жилой вид, и висевшие на стенах портреты важных особ, привыкшие по будням выслушивать разговоры о неплатимых податях и недоимках, о буйстве, разбое и воровстве, о найденных где-нибудь в поле мертвых телах, благосклонно смотрели на весело пирующих.

Гости собрались к Мармидонтову в обычный час. Здоровые желудки их, очевидно, успели преисправно переварить принятые вчера у Ог-

лоблина обильную пищу и питье, и лица у всех были свежие, а глаза выражали полную готовность воспринимать вновь.

Ход событий был совершенно тот же, что и вчера. На этот счет давно уже был выработан и раз навсегда установлен определенный порядок. Хозяева предлагали, гости слегка отказывались, потом пили и ели.

Разница была лишь та, что секретарем на этот раз был назначен Оглоблин, так как Мармидонтов был хозяин. Но Оглоблин столь же исправно, как и вчерашний секретарь, наливал водку и не допустил в этом отношении ни малейшего упущения.

Несколько иной вид являл и поросенок, который был подан к столу. По размерам он нисколько не уступал вчерашнему. По-видимому, это были сверстники. Но бока его не были столь толсты, и вообще видно было, что начинке его не придавалось первенствующего значения.

Но зато цвет его кожи был действительно необыкновенен. Весь, от маковки до хвоста, он был одинакового, густо-румяного цвета, и когда после совершения всех обрядностей принялись есть его и кожица его попадала в рот, то хрустела на зубах, как нежнейший хрящ.

Выпивали столь же исправно по поводу каждого кусочка, причем дьяк Евлампий говорил, а все остальные слушали, и иногда только Мармидонтов вставлял свои замечания. Вообще, суд, видимо, весь сосредоточился на личности суперарбитра, так как бухгалтер и Мерлушкин только ели и пили, но упорно молчали.

— Ведь вот удивительное дело, — говорил дьяк Евлампий, дожевывая уже третий кусок поросячьего бока и обильно поливая его водкой, — как мудро устроен свет. Из одного и того же предмета человек извлекает многие удовольствия. Вот вчерашнего дня мы пировали у Оглобли, а нынче пируем у Мармидонта, и там и здесь вкушаем поросенка. И может быть, еще три дня тому назад оба они — то есть не Оглобля с Мармидонтом, а поросята — вместе гуляли по полям и из одного корыта пили пойло, может быть, они были закадычными друзьями и одинаковые у них были мысли, а посмотрите, сколь они различаются между собой! Превосходен был вчерашний, но великолепен и сегодняшний, и в то же время сегодняшний не походит на вчерашнего. Глядишь на божий свет и прямо-таки не можешь не воскликнуть от восхищения: дивны дела твои, Господи, ей-ей!

Когда же поросенок был съеден, прежде чем перейти к другим яствам, ожидавшим очереди, дьяк Евлампий поднялся и, напустив на себя важную торжественность, отчего его толстое, добродушное лицо сделалось еще смешнее, чем создал его Бог, откашлялся и провозгласил своим могучим сочным басом:

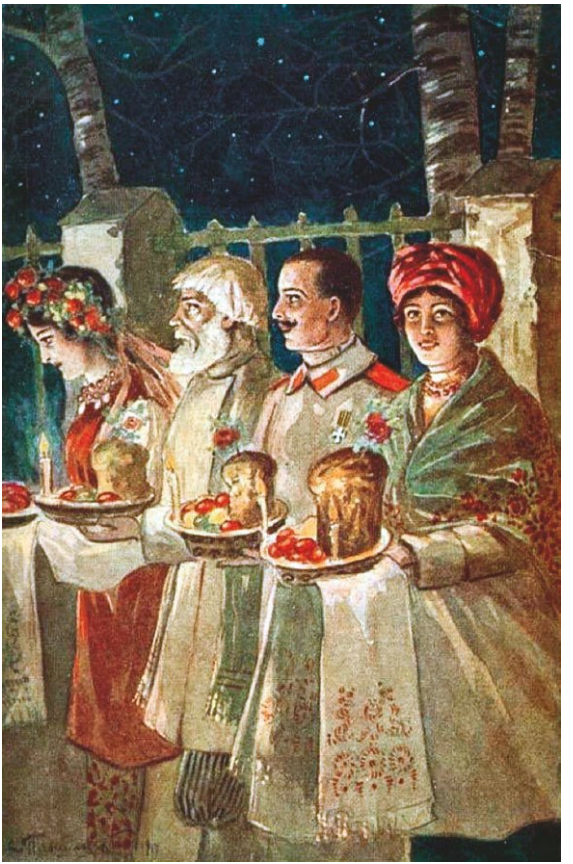
— Приговор!

Вся публика оправилась, выпрямилась и насторожилась так, как будто и в самом деле ожидала что-нибудь серьезное и важное. Все лица повернулись к дьяку Евлампию, а он и сам, видимо, делал большое усилие, чтобы не рассмеяться, но выдерживал довольно исправно.

— Принимая во внимание, — первое: что, как человек, сотворенный по образу и подобию божию, состоит из тела и души, так и порося должна быть обязательно составлена из мяса и начинки, и как никаким человеческим воображением невозможно представить, чтобы человек жил без души, так и порося не может быть подаваема на стол без начинки…

Он на минуту остановился, протянул свою руку с пустой рюмкой по направлению к секретарю Оглобле, тот моментально налил ему водки, он залпом опрокинул ее в свое горло и продолжал:

— Второе: подобно тому, как человеку надлежит, питая тело свое и содержа его в чистоте и здоровье, и душу свою совершенствовать добродетельными поступками, так и в поросячьем деле совершенство начинки должно быть сопрягаемо с добрыми качествами прочих органов, а особливо — именуемой шкурки, а посему приговорили: просить досточтимую вчерашнюю хозяйку нашу, Матрену Григорьевну, и сегодняшнюю нашу архитриклиншу, достоуважаемую Анну Панкратьевну, доверчиво и ничего не умалчивая, открыть друг дружке тайну, первая — превосходного изготовления начинки, а вторая — великолепного поджарения шкурки до румяности, дабы на будущее время мы имели возможность, будучи в гостях и у Оглобли, и у Мармидонта, вкушать равномерно совершенных поросят со стороны как начинки, так и прочих органов. А по случаю сего суждения и приговора обязаны мы выпить трижды за здоровье Оглобли и Мармидонта и их любезнейших супруг!



И выпили трижды.

А так как хитроумный приговор, сочиненный дьяком Евлампием, доставил удовольствие всем, а в особенности Оглобле и Мармидонту и их супругам, то сейчас же стали пить за здоровье дьяка Евлампия, затем нужно было выпить и за других судей, которые вкушали обоих поросят столь же добросовестно, как и суперарбитр.

Потом начали пить за каждого из гостей поголовно и напились до положения риз.

1911



Леонид Андреев

Баргамот и Гараська

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари — проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности Баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, наполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления,

проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для пушкарей же — наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц — он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное — Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была всё. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, куста-

рями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с неменьшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, — могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде,

Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой — вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра Светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений

поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

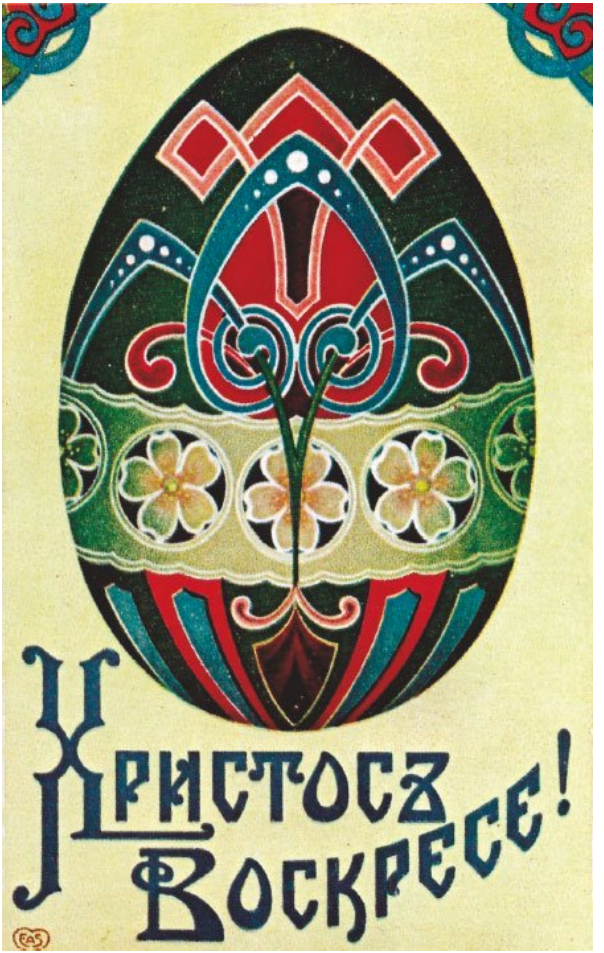
— Тьфу! — плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее.

Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до «разговленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с не особенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут

как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» — резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул — сосало под ложечкой.


Христосъ Воскресе!

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он не торопясь со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!

«Потешный мальчик!» — ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» — подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, — его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться,

составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до средины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

— Фонарь. Тпру! — кратко констатировал Гараська совершившийся факт.

Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами,

Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

— Стой, дурашка, куда ты?! — бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. — Вот, вот!.. — Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь — в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке — и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют — толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли

Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, — от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, — было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки

вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

— Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? — Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

— Куда идешь? — мрачно прогудел Баргамот.

— Наша дорога прямая…

— Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

— Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок.

— А вот в участке поговоришь! Марш! — Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу

надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шкуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

— А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?

— Уж молчал бы! — презрительно ответил Баргамот. — До свету нализался.

— А у Михаила-архангела звонили?

— Звонили. Тебе-то что?

— Христос, значит, воскрес?

— Ну, воскрес.

— Так позвольте… — Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз — потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», — решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

— Что ты, очумел, что ли? — ткнул его ногой Баргамот.

Воет. Баргамот в раздумье.

— Да чего тебя расхватывает?

— Яи-ч-ко…

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.



— Я… по-благородному… похристосоваться… яичко, а ты… — бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял.

Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось и как это ему, Баргамоту, было жаль.

— Экая оказия, — мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

— Похристосоваться хотел… Тоже душа живая, — бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. — А я, тово… в участок! Ишь ты!

Тяжело крякнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

— Ну… — смущенно гудел он. — Может, оно не разбилось?

— Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

— А ты чего же?

— Чего? — передразнил Гараська. — К нему по-благородному, а он в… в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным

нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то в самых отдаленных недрах его дюжего тела что-то назойливо сверлило и мучило.

— Да разве вас можно не бить? — спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

— Да ты, чучело огородное, пойми…

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько прояснившем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

— Пойдем ко мне разговляться.

— Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

— Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел — и куда же? — не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще… разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль — навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и

не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

— Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, — поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

— Да нет, не то я говорю… — мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что́ городит его суконный язык…

Пришли наконец домой — и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, — но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Об-

жигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

— Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то… сюрпризец? — спрашивает Марья.

— Не надо, потом… — отвечает торопливо Баргамот.

Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, — но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

— Кушайте, кушайте, — потчует Марья, — Герасим… как звать вас по батюшке?

— Андреич.

— Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянною

и жалкою миной смотрит на жену.

— Ну чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, — успокаивает та беспокойного гостя.

— По отчеству… Как родился, никто по отчеству… не называл…

1898



В Сабурове

Село Сабурово стоит на высоком нагорном берегу Десны, господствуя над бесконечной гладью лугов, лишь на далеком горизонте оттеняемых узкой полоской синеватого леса.

Лет двенадцать тому назад пришел в Сабурово мужик Пармен Еремеев Костылин. Никто на селе не знал, откуда он явился, да и не интересовался этим вопросом. Пармен был не из тех людей, с которыми приятно повести душевный разговор о жизни, сидя где-нибудь у залитой сивухой и засиженной мухами кабацкой стойки или валяясь на сене. Причиной тому была частью отвратительная внешность Пармена, частью его замкнутый, необщительный характер. Мужик он был рослый, здоровый, и, глядя на него сзади, всякий чувствовал расположение к этой крепко сколоченной фигуре, с слегка неуверенными движениями и нерешительной походкой. Но другое являлось чувство, когда человек вглядывался в его лицо. Страшная болезнь, известная в народе под именем волчанки, изъела это лицо, как заправский жестокий зверь. Она уничтожила нос, оставив на его месте дыру, скрываемую Парме-

ном под чистой белой тряпочкой; припухшие красноватые веки были совсем почти лишены ресниц и тяжело повисли над серыми глазами, придавая лицу выражение странной сонливости; щеки и подбородок были изборождены шрамами и рубцами, красными и блестящими, как будто произведшие их раны только что зажили. Ни бороды, ни усов не росло на этом убогом лице; на их месте сиротливо торчали тонкие, бесцветные волосики: так после лесного пожара, уничтожившего молодой березняк и осинник, на бугроватой земле одиноко возвышаются обуглившиеся деревца. Много есть на свете безносых людей, которые и поют, и пляшут, и компанию водят, настолько примирившись с отсутствием носа, что и другим начинает казаться: да этому лицу носа совсем и не нужно. Не таков был Пармен. Точно чувствуя себя виноватым в своем безобразии, этот дюжий мужик боялся людей и хоронился от них, а когда обстоятельства принуждали его к беседе, то говорил угрюмо и кратко. И хотя он мухи отроду не обидел, его не то чтобы побаивались, а считали способным на всякие поступки, на которые не решится другой, по пословице: «Бог шельму метит».

Появился Пармен впервые в качестве работни-

ка у Федота Гнедых, мужика хворого и слабосильного. Работал Пармен много и не покладая рук, но как-то беззвучно и невидно, точно его и нет. Через три года Федот умер. Пелагея, жена его, поголосила, сколько полагается, над покойником, выветрила избу от мертвого духа и продолжала жить, как и раньше, то есть разрываясь на три части, по количеству детей. Старшему, Гришке, было всего одиннадцать лет, а Санька, весьма требовательная и воинственная девица, еще не была отнята от груди. Подождав немного, Пармен попросил вдову отпустить его.

— Платить тебе нечем, какой я тебе работник, — заявил он коротко и резко.

Пелагея знала, что за золотые руки у Пармена, и в эту минуту он показался ей чуть ли не красавцем.

— Что я одна-то с ребятами поделаю, — заплакала она. — Не оставь ты меня, Еремеич, с малыми сиротами, будь им заместо отца… А я тебя по гроб твоей жизни не оставлю.

Пармен остался. Если раньше он работал за двоих, то теперь стал работать за десятерых, все так же тихо и безмолвно: одному ему был известен способ, посредством которого он ухитрялся делать невидимою свою рослую фигуру. Даже с

Пелагеей, с которой он спал на месте покойного Федота, он был неразговорчив, и только Санька умела вызывать его на разговор и даже на шутку. Эта юная особа, только что усвоившая первые начала пешего хождения и лишь в важных случаях, когда требовалась особенная быстрота, передвигавшаяся на четвереньках, была совершенно чужда чувству красоты. Отсутствие носа у дяди Пармена не только ее не шокировало, как взрослых, но, впадая в крайность, она находила нос излишним придатком. Не говоря уже о том, что он являлся обыкновенно первой жертвой при ее многочисленных падениях, — у матери ее, Пелагеи, существовала очень дурная привычка: завернув подол платья, хватать им Саньку за нос и немилосердно дергать. Хорошо еще, что нос был маленький, а с большим Саньке совсем бы и не управиться. Сидя у Пармена на коленях, Санька гладила пальцами блестящие края раны и, придерживая другой рукой для вящей ясности свою замазанную сопатку, наводила справки о том, какого приблизительно размера был дядин нос и куда он девался.

— Собака откусила, — шутил Пармен.

— Жучка? — спрашивала Санька, тараща глаза.

— Она самая.

Всесторонне обсудив это сообщение, Санька находила в нем несомненные признаки клеветы: Жучка не такая собака, чтобы откусить нос. Барбос — тот мог, но Жучка никогда. И Санька с ужасом смотрела на соседнего лохматого Барбоса, воображая, как хрустит у него на зубах дядин нос, и с визгом ковыляла к матери, когда Барбоска, пес в действительности вежливый и обходительный, выражал намерение лизнуть ее в лицо.

Постепенно Пармен привык к своему положению и значительно изменился нравом. Смеяться стал; раз, проезжая лесом, хотел запеть, но, видно, и горло было у него испорчено: звук получился такой, как будто ворона закаркала, а не мужик запел. Начал Пармен пользоваться и привилегией счастливых людей: вызывать к себе хорошее отношение. Его меньше чурались, и если продолжали звать «Безносым», то не ради насмешки или из злобы, а просто в отметку действительного факта. Была бы довольна и Пелагея, если бы ее взгляд давно не заметил на этом чистом небе облачка, грозившего превратиться в тучу. Дело было в Гришке. Смуглый, как цыганенок, красивый мальчуган чувствовал непобедимое нерасположение к Пармену. Говорливый со

всеми, с Парменом он держался дичком и проницательным взглядом не по годам развитого ребенка провожал Пармена, когда тот укладывался на печи спать бок о бок с Пелагеей. В этом взгляде была и ревность, и пренебрежение к «Безносому», занимающему место отца. Но еще больше, чем к матери, ревновал его Гришка к хозяйству, к дому, безотчетно возмущаясь тем, что какой-то чужак, пришелец распоряжается, как своим, всем этим добром, идущим от деда, а то и прадеда.

— Воистину Господь послал нам Пармена Еремеича, — издалека заводила разговор Пелагея, искоса поглядывая на Гришку.

Обыкновенно тот молча уходил, но, когда и он, и брат Митька подросли настолько, что сами могли управиться с хозяйством, он начал возражать матери.

— Прожили бы и одни, — бурчал он. — Эка невидаль. Думает — безносый, так всякое ему и уважение. Держи карман шире.

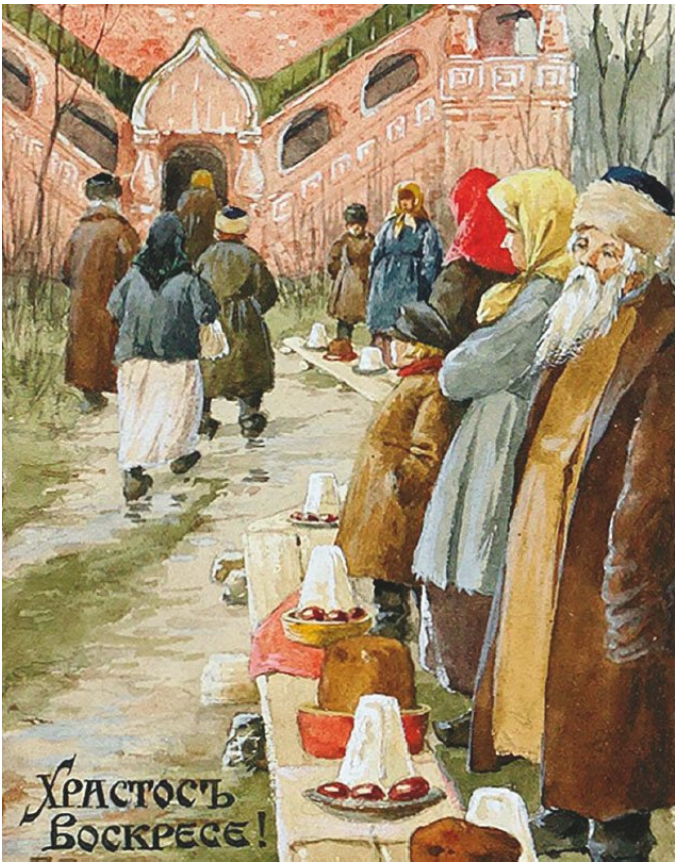
— Чистый ты, Гришка, змееныш, — говорила Пелагея.

Пармен, в противоположность былой мнительности ставший доверчивым даже до легкомысленности, ничего этого не замечал. Раз Григорий,

уже семнадцатилетний здоровый малый, пришел домой особенно злой.

— Послушала бы, что люди-то говорят, — сказал он матери. — «У тебя, говорят, заместо отца Безносый». Ребята засмеяли, проходу не дают. Пожил, пора и честь знать.

Чуть ли не каждый день Григорий стал возвращаться к разговору на тему «пора и честь знать». Пелагея возражала, но с каждым разом все слабее. Ей самой начинало казаться странным хозяйничанье Пармена. «И чего он тут в самделе? — думала она, глядя на чужую, отвратительную физиономию Пармена, который, ничего не подозревая, с топориком охаживал кругом плетня. — Ишь колотит, кабудь и вправду мужик». Митька, парень болезненный и ко всему равнодушный, делал вид, что не замечает озлобления брата.


Христосъ
Воскресе!

Было это осенним вечером, в воскресенье. Пармен, благодушествуя, сидел в избе за чаепитием. Тряпочку, которой обвязывался его нос, дома из экономии он снимал, и теперь лицо его, покрытое красными рубцами, лоснилось от пота и было неприятнее обыкновенного. Потягивая из блюдечка жиденький чай, отдающий запахом распаренного веника, Пармен думал о Саньке, где-то гулявшей с девчонками, удивлялся этому невероятному мужику, Пармену, который пьет сейчас такой вкусный чай и так незаслуженно счастлив, размышлял о том, с чего он начнет завтрашний рабочий день… Вошел Григорий, хмельной и решительный. «Эк подгулял парнюга, — усмехнулся Пармен. — Пущай: это он силу в себе чувствует». Не снимая шапки, Григорий остановился перед Парменом. На губах его блуждала пьяная усмешка.

— Проклаждаетесь? Чай, значит, распиваете. Так. А на какие такие капиталы?

Пармен, продолжая улыбаться, хотел что-то сказать, но Григорий прервал его:

— А ежели скажем так: вот Бог, а вот и порог. Пожалте, как ваше здоровье?

В глазах Пармена мелькнул испуг, хотя губы все еще продолжали кривиться в улыбку. Григорий,

пошатываясь, подошел к Пармену вплотную, вырвал блюдце и выплеснул чай.

— Довольно-таки покуражились. Достаточно. Прямо так скажем: пора и честь знать. А нам безносых не надоть. Пож-жалте! Пофорсили — и будет. А вот, ежели угодно… раз! — Григорий сорвал с крюка армяк Пармена и бросил его на пол. — Два! — За шапкой последовал пояс, потом сапоги, которые Григорий с трудом достал из-под лавки. — Три! Четыре!

Пармен, раскрыв рот, смотрел на парня. Пальцы, в которых он держал блюдце, так и остались растопыренными и дрожали. Вдруг он смутился, из бледноты ударился в краску и засуетился, собирая разбросанные вещи.

— Ты что же это, пьяница, делаешь? — заголосила Пелагея, которой стало жаль Пармена.

— А вы, маинька, не суйтесь. Ваше дело бабье, а ежели желаете, то вот… Семь! — Григорий выказал намерение сбросить еще что-то, но пошатнулся и плюхнулся на лавку.

— Что ж это, ничего, — бормотал Пармен, — это правильно. Волчанка съела. Я уйду.

— Да плюнь ты на него, непутевого, — причитала Пелагея. — Ишь, буркалы-то налил. Головушка моя горькая, доля ты моя бесталанная!..

— Восемь! — считал Григорий, опуская голову на грудь и засыпая. — Двенадцать!..

Через несколько дней Пармен ушел. Григорий во все эти дни избегал всякого с ним разговора; Пелагея тоже не удерживала и только твердила: «Голова моя горькая»; Митька делал вид, что ничего не замечает. Только Санька заревела белугой, узнав, что дядя Безносый уходит.

— А с кем я у поле поеду! — вопияла она, энергично вцепившись в Парменов полушубок.

В эту ночь, первую, проведенную без Пармена, она долго хныкала, вспоминая свою горькую участь. Побитая матерью, она наконец заснула, но часто вскрикивала спросонья и стонала.

Пармену удалось пристроиться сторожем в Шаблыкинском лесу, начинавшемся почти у самого села. Долгую зиму Пармен слушал по ночам волчий протяжный вой, пока не подошла весна, принесшая с собой жизнь для всей природы. Пробудилась жизнь и в окаменелом Пармене. Проваливаясь по колена в мягкий снег, под которым стояла чистая, прозрачная вода, Пармен пошел в гости к Пелагее, но был встречен недружелюбно. Так и ушел он смущенный и потерянный. Но с тех пор по ночам часто бродил он вокруг темной хаты.

Страстная неделя кончалась. Вечером в субботу Пармен отправился в церковь, захватив с собой кулич, спеченный ему одной бабой с села. От сторожки до Сабурова было версты две, сперва лесом, потом полем, покрытым оврагами и водомоинами. Когда Пармен вышел из дому, темень была такая, что хоть глаз выколи. Звезд и тех не видать было, хотя небо было безоблачно. Воздух стоял теплый, слегка сыроватый от испарений, поднимавшихся с оттаявшей, но не просохшей еще земли. Отовсюду окрест доносился тихий и ровный звук журчащей по межам воды. Разом на Пармена пахнуло свежестью и легким холодком: то потянуло ветром из глубокого оврага, еще наполовину полного снегом. На дне его, между отвесных стен, чуть слышно бурлила вешняя вода. Из беспросветно-черной дали доносился неясный гул и треск, то усиливаясь, то затихая: это сталкивались, налезали друг на друга и ломались льдины на широко разлившейся Десне. Гул становился все яснее и громче, по мере того как Пармен приближался к высокому нагорному берегу, по которому пролегала проезжая дорога. Вот уже ухо различает отдельные звуки: слышно, как бегут одна за другой веселые, бойкие струйки и вертятся, образуя водовороты; слышится, как

разогнавшаяся большая льдина врезывается с треском в землю, выплескивая с собой волну. Берег круто заворачивает и открывает вид на церковь. Верх ее теряется в темном небе, но внизу ярко горят освещенные окна и дрожащими, колеблющимися пятнами отражаются на темной, движущейся поверхности многоводной реки, на много верст затопившей луговую сторону.

Церковь была полна. Тоненькие восковые свечи горели тусклым, желтоватым огоньком в душном, спертом воздухе, полном запаха овчины. Сквозь неопределенный шуршащий звук, издаваемый толпой, прорывался страстный молитвенный шепот. Пармен стал в притворе, куда чуть слышно доходил протяжный голос священника. Звучало радостное пение:

«Христос воскресе из мертвых…»

Сгрудившаяся в притворе толпа всколыхнулась и сжалась еще более, давая дорогу причту. Прошел в светлых ризах священник; за ним, толкаясь и торопясь, беспорядочно двигались хоругвеносцы и молящиеся. Выбравшись из церкви, они быстро, почти бегом троекратно обошли ее. Радостно возбужденное, но нестройное пение то затихало, когда они скрывались за церковью,

то снова вырывалось на простор. Надтреснутый колокол звонил с отчаянным весельем, и его медные, дрожащие звуки неслись, трепеща, в темную даль, через широкую, разлившуюся реку. Внезапно звон затих, и густое, дрожащее гуденье, замирая, позволяло слышать, как шумит река. Утомленное ухо ловило звук далекого благовеста.

— Это в Измалкове звонют, — сказал один из мужиков, прислушиваясь. — Ишь как по воде-то доносит. По всей-то теперь земле звон идет…

И устремленным в темную даль глазам мужика представились бесконечные поля, широкие разлившиеся реки, и опять поля, и одинокие светящиеся церкви… И над всем этим, сотрясая теплый воздух, стоит радостный звон.

— Эх, — вздохнул мужик полной грудью. — Простору-то, простору-то и-и…

Пармен пошел домой еще до окончания церковной службы. В сторожке было холодно и пусто. Пармен разложил на столе кулич, яйца и хотел разговляться, но кусок не шел в горло. Поколебавшись, он снова оделся и пошел в село.

В Сабурове улицы были пустынны и темны, но во всех окнах светился огонь, придавая селу вид необычного скрытого оживления. Хлопнула

калитка. Пармен не успел перейти на другую сторону и был остановлен толстым мужиком. Это был Митрофан, поповский работник. Растопырив руки и покачиваясь, он запел:

А-ах, прости-прощай, ты кра-са-вица,

Красота ль твоя мне не нра-а-витца…

Пармен молчал, а подгулявший Митрофан перешел в серьезный тон:

— Христос воскресе, Пармен Еремеевич.

— Воистину воскресе, Митрофан Панкратьич.

Мужики сняли шапки и троекратно поцеловались.

Митрофан надвинул шапку на затылок, вытер рукавом толстые губы и дружески заметил:

— Вишь ты, и рот-то у тебя какой липкий! А я, брат, того — выпил. Поп поднес. На, говорит, Митрофан, выпей от трудов праведных. Я и выпил. Отчего не выпить? Пойду к Титу и у Тита выпью, а поутру у Макарки выпью…

Митрофан наморщил брови, вычисляя, где еще и сколько ему придется выпить за эту неделю. Видимо, результат был утешительный: чело его разгладилось, и шапка как-то сама собой съехала на затылок. Простившись, Митрофан тронулся дальше.

Жучка заметалась и залаяла, когда Пармен подошел к хате Гнедых, но, увидав своего, завертелась волчком и в знак покорности и извинения легла на спину. Пармен погладил ее и осторожно вошел в калитку; он не хотел, чтобы с улицы заметили его.

Сквозь вымытые к празднику стекла оконца отчетливо видна была часть избы. Прямо против Пармена сидела за столом Санька и с надувшимися, как барабан, щеками с трудом что-то пережевывала. Глаза ее слипались, но зубы неутомимо работали. Рядом сидела Пелагея. Ее худощавый и острый профиль с слегка втянутыми губами был полон праздничной торжественности. Других Пармену видно не было. Вероятно, было сказано что-нибудь очень веселое, потому что Пелагея засмеялась, а Санька подавилась, и мать несколько раз стукнула ее по горбу. Пармен пристально смотрел в одну точку, не замечая, как была покончена еда и Пелагея начала убирать стол. Привел его в себя звук открывающейся двери. Захваченный врасплох, Пармен отскочил в угол сарая и притаился, стараясь не дышать. На крыльцо вышел Григорий, посмотрел на посветлевшее небо, по которому зажглись запоздавшие звезды, почесался и продолжительно зевнул, оттолкнув

от себя Жучку, заявившую о своем желании приласкаться. Оскорбленная собака направилась к Пармену и начала тереться около него.

— Цыц! Назад! — крикнул Григорий, но Жучка не шла. — Аль там кто есть? Мить, ты?

Пармен молчал, прижимаясь к стене. Григорий подошел и увидел сгорбившуюся фигуру.

— Кто это? Чего тебе тут надо? Тебе говорят!

Пармен обернулся. Григорий узнал его и, насупившись, хотел поворотить от него в избу, но вдруг у него в голове мелькнула мысль о поджоге, тотчас же перешедшая в уверенность.

— Ты чего же здесь прячешься ночью? а?

Пармен молчал.

— А, так ты вот как! — схватил его Григорий за ворот и закричал: — Митька! Митька! Не, брат, не уйдешь.

Но Пармен и не думал уходить. Оцепенев, он бессмысленно смотрел на побледневшее от злости лицо Григория, потом на Митьку, который по настойчивому требованию брата стал шарить в его карманах, вытащив оттуда какую-то веревочку и коробок фосфорных спичек.

— А, поджигатель! — заорал Григорий. — Вот он твой благодетель-то, гляди! — крикнул он матери, с испугом смотревшей на эту сцену, и,

рванув, стукнул Пармена головой о стену.

Санька, глаза которой хотели, казалось, выскочить из своих впадин, легонько охнула.

— Да что ты! — заговорил наконец Пармен. — Нешто я могу. Опамятовайся, Бог с тобой.

— Еще поговори, гунявый!

— Так, значит, пришел, вот тебе крест. Не чужие ведь. Заместо отца был. Грех тебе, Гриша.

Гнев Григория начал было отходить, но последние слова снова разбудили его. Тряся Пармена за ворот, он грозил сейчас же отправить его в волостное правление и требовал, чтобы ему подали шапку и одежду.



Митрий лениво вступился:

— Пусти его, Григорий! Пущай идет.

— Головушка моя горькая! — запричитала Пелагея, скрываясь в избу и таща за собой Саньку, но та снова выскочила: у нее были свои мысли по поводу происходящего.

— Ну так и быть, в последний раз, — отпустил Григорий ворот Парменова полушубка. — Только

попомни мое слово: ежели еще раз увижу, безо всякого разговора колом огрею! Ну, чего стал! Иди, коли говорят!

Пармен поднял упавшую шапку и хотел что-то сказать, но трясущиеся губы не повиновались. Раза два открывался его рот, обнаруживая черные сгнившие зубы, но только одно слово вылетело оттуда:

— Про… щайте.

Сгорбившийся, как будто на его вороте все еще лежала тяжелая рука Григория, шагал Пармен по улицам. Огоньки всюду погасли, и на селе царила тишина — только один какой-то неудовлетворенный пес меланхолически завывал, восходя до самых высоких, чистых нот и спускаясь оттуда до легкого повизгивания. До солнца было еще далеко, но ночной мрак начал уже рассеиваться и сменился сероватым полусветом. Внезапно сзади Пармена послышался частый, дробный топот босых ног. Детский задыхающийся голос кричал, вытягивая последние слова:

— Дядя Без-но-сай! Дядя Безно-сай!..

Пармен обернулся. С развевающейся вокруг ног юбчонкой бежала к нему Санька; кричать она была уже не в силах и только раскрывала рот.

Рядом с Санькой бежала вприпрыжку куцая

Жучка. Подлетев к Пармену, Санька с разгону протянула к нему руку и из последнего запаса воздуха отрывисто шепнула:

— На.

— Что ты, Сашута? — наклонился к ней удивленный Пармен, не видя, что Жучка, перевернувшись на спину, также старается привлечь на себя его внимание!

Санька широко раскрыла рот и набрала воздуха для целой речи, но с первым же словом выпустила его:

— Тебе.

— Куда ты бежишь-то, стрекоза? — недоумевал все более Пармен.

— Дядя Безносый, пирог, — разрешилась наконец Санька, из благоразумной предосторожности не останавливаясь на знаках препинания.

Ее ручонка с трудом охватывала большой кусок пирога, порядком уже замусоленный. Присутствуя при объяснении Григория с Парменом, Санька без труда сообразила, что дядя Безносый приходил не поджигать, а разговляться, потому что живет он один и есть ему нечего. Раньше ему есть мамка давала, а теперь кто даст?

— Ешь, — протягивала Санька пирог. Как все особы ее возраста, она любила видеть немедлен-

ное осуществление своих планов. — Чего же ты не ешь?

Пармен, сжимая руками худенькие плечи, смотрел, не отрываясь, на ее пухлые щеки и вздернутый носик, не изменивший своим привычкам и где-то запачканный.

«Вот чудак-то: есть не хочет, — думала с недоверием Жучка, косясь на пирог и легонько подрягивая задней ногой. — А я бы съела».

— Ну, ешь, — просила Санька.

Вместо ожидаемого ответа Пармен подхватил ее на руки и прижал лохматую головенку к своей рубцеватой, шершавой щеке. Саньке было тепло и хорошо, пока что-то мокрое не поползло по ее шее. Отдернув голову, она увидела, что дядя Безносый, этот страшно высокий и сильный дядя Безносый, плачет.

— Чего ты? Не плачь, — прошептала Санька. — Не плачь, — сурово продолжала она, не получая ответа. — А то и я зареву.

Пармен знал, что значит, когда Санька ревет: значило это разбудить всю деревню, — и прошептал, целуя большие влажные глаза:

— Ничего, Сашута, ничего, девочка. Так это я, пройдет. Не забыла, вспомнила. — И снова слезы быстро закапали из глаз Пармена. — Обидели

меня, Сашута. Да что ты, голубка?

Закрыв один глаз рукой, в которой находился пирог, Санька выразительно скривила рот и загудела:

— У-у… Гришка… Злю-ка-а!

— Ну что ты, Сашута, — упрашивал ее Пармен.

— Разбо-й-ник, — продолжала непримиримая девица.

Со двора Гнедых послышался зов: «Саньк-а-а-а!»

— Не пойду-у, — гудела Санька, несколько понизив тон.

Услышав голос Пелагеи, Пармен поспешно спустил Саньку наземь и, суетливо крестя ее, шептал:

— Иди с Богом, девочка моя милая, иди, а то матка осерчает.

— Пуща-ай, не бою-у-сь.

— Иди, милая, иди.

Нагнув голову, как бычок, готовый бодаться, Санька нерешительно тронулась с места, но, спохватившись, что миссия ее еще не окончена, вернулась, отдала пирог — и легче пуха полетела к дому. Бросив прощальный взгляд на пирог, неохотно заковыляла за ней Жучка. В следующую минуту со двора Гнедых послышался сердитый

крик Пелагеи.

Было почти светло, когда Пармен вышел на берег и сел на бугре, покрытом желтой прошлогодней травой, среди которой там и здесь проглядывали зеленые иглы новой. Внизу плескалась река. Воды за ночь прибыло. И вся река как будто приблизилась. С верховьев шел густой белый лед. Он двигался плавно, неслышно, как по маслу. Точно не он шел, а вся река.

Небо из серого стало белым, потом поголубело, а Пармен все сидел. И тосковал глубоко.

1899





Гостинец

I

— Так ты приходи! — в третий раз попросил Сениста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил:

— Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не прийти, конечно приду.

И снова они замолчали. Сениста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку; ему хотелось, чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как это сделать без обиды для мальчика, шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить; но говорить было не о чем, и мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так, его все время тянуло называть Сенисту по имени и отчеству — Семеном Ерофеичем, что было отчаянно нелепо:

Сениста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей и Сазонкой звался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал Сенисте последний подзатыльник, и это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя.

Сазонка решительно начал сползать со стула, но, не доведя дело до половины, так же решительно всполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то от утешения:

— Так вот какие дела. Болит, а?

Сениста утвердительно качнул головой и тихо ответил:

— Ну, ступай. А то он бранить будет.

— Это верно, — обрадовался Сазонка предлогу. — Он и то приказывал: ты, говорит, поскорее. Отвезешь — и той же минутой назад. И чтобы водки ни-ни. Вот черт!

Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Сенисте. К жалости призывала вся необычная обстановка: тесный ряд кроватей с бледными, хмурыми людьми; воздух, до последней частицы испорченный запахом лекарств и испарениями больного человеческого тела; чувство собственной силы

и здоровья. И, уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Сенисте и твердо повторил:

— Ты, Семен… Сеня, не бойся. Приду. Как ослобонюсь, так и к тебе. Разве мы не люди? Господи! Тоже и у нас понятие есть. Милый! Веришь мне аль нет?

И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Сениста отвечал:

— Верю.

— Вот! — торжествовал Сазонка.

Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить о подзатыльнике, случайно данном две недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сенина плеча:

— А ежели тебя по голове кто бил, так разве это со зла? Господи! Голова у тебя очень такая удобная: большая да стриженая.

Сениста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок, волосы его, все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, подымались пышной и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались.

— Ну, прощевай! — сказал он, но не тронулся с места.

Он нарочно сказал «прощевай!» а не «прощай!», потому что так выходило душевнее, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Сенисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Сениста опять вывел его из затруднения.

— Прощай! — сказал он своим детским тоненьким голоском, за который его дразнили «гуслями», и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке.

И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной лапищей, подержал их и со вздохом отпустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков: как будто Сениста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех и всех свободнее, и происходило это оттого, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем.

— Так приходи же, — в четвертый раз попросил Сениста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крыльями.

Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его — очень жаль.

Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просящий голос:

— Приходи же!

И, разводя руками, Сазонка отвечал:

— Милый! Да разве мы не люди?

II

Подходила Пасха, и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье Сазонке удалось напиться, да и то не допьяна. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов, он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, хмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанными на него обрезками материй и ножницами

горел ослепительным светом, и становилось так жарко, что нужно было, как летом, распахнуть окно. И вместе с волной свежего, крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная, еще слабосильная муха и проносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рылись куры и блаженно кудахтали, нежась в круглых ямках; на противоположной, уже просохшей стороне играли в бабки ребята, и их пестрый, звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучал задором и свежестью. Езды по улице, находившейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шажком проезжал пригородный мужик; телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей.

Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам.

— Ну-ка, дай ударить, — просил он, и десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голосов просили:

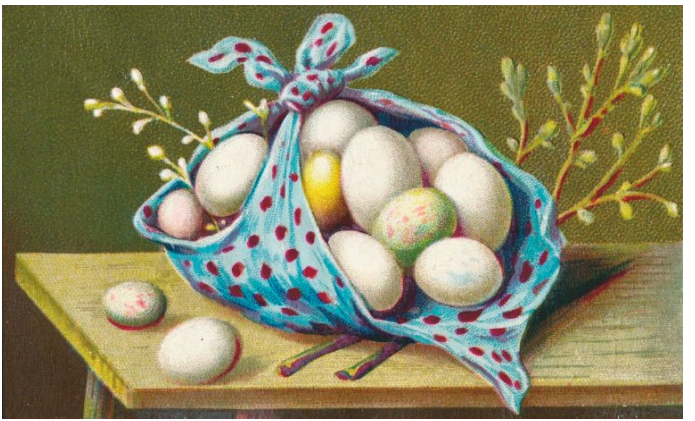
— За меня! Сазонка, за меня!

Сазонка выбирал плиту поувесистее, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в середину длинного кона, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам:

— А Сениста-то еще в больнице, ребята.

Но, занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно.

— Надобно ему гостинца отнести. Вот ужо отнесу, — продолжал Сазонка.



На слово «гостинец» отозвались многие. Мишка Поросенок подергивал одной рукой штанишки — другая держала в подоле рубахи бабки — и серьезно советовал:

— Ты ему гривенник дай.

Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и

такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки у глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и когда хозяин, Гавриил Иванович, смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка, и он ожесточенно сплевывал и ругался.

В голове Сазонки было смутно и тяжело, и по целым часам он неуклюже ворочал какую-нибудь одну мысль: о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего он думал о Сенисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин — и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки: как он приходит к Сенисте в больницу и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой дреме он забывал, что такой Сениста, и не мог вспомнить его лица; но каемчатый платок, который нужно еще купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем, хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам, Сазонка говорил, что

пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи.

— Уж так нужно, — твердил он. — Причешусь, и той же минутой к нему. На, милый, получай!

Но, говоря это, он видел другую картину: распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине их залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться, и хотелось кричать громко и настойчиво: «К Сенисте пойду! К Сенисте!»

А голову наполняла серая, колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость в нем была, а суровый укор и грозное предостережение.

III

И на первый день Пасхи и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Сенисте.

Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачовых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи; играли вразброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не

глядел по сторонам. Лицо его, с подбитым глазом и рассеченной губой, было мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что представится он Сенисте не во всей красе — в красной шерстяной рубахе и жилетке, а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему становилось, и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Сенисты виделось теперь совсем живо и ясно, с запекшимися губами и просящим взглядом.

— Милый, да разве? Ах, Господи! — говорил Сазонка и крупно надбавлял шагу.

Вот и больница — желтое, громадное здание, с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата и постель Сенисты…

Но где же сам Сениста?

— Вам кого? — спросила вошедшая следом сиделка.

— Мальчик тут один лежал. Семен. Семен Ерофеев. Вот на этом месте. — Сазонка указал

пальцем на пустую постель.

— Так нужно допрежде спрашивать, а то ломитеся зря, — грубо сказала сиделка. — И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин.

— Ерофеев — это по отчеству. Родителя звали Ерофеем, так вот он и выходит Ерофеич, — объяснил Сазонка, медленно и страшно бледнея.

— Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем: по отчеству. По-нашему — Семен Пустошкин. Помер, говорю.

— Вот как-с! — благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги. — Когда же-с?

— Вчера после вечерен.

— А мне можно!.. — запинаясь, попросил Сазонка.

— Отчего нельзя? — равнодушно ответила сиделка. — Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь! Кволый он был, не жилец.



Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно, ноги твердо несли его в указываемом направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Сенисты. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой, и все кругом стало видно: покрытые сырыми пятнами стены, окно, занесенное

паутиной; как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха; падали откуда-то капельки воды; упадет одна — кап! — и долго после того в воздухе носится жалобный, звенящий звук.

Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал:

— Прощевай, Семен Ерофеич.

Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся.

— Прости меня, Семен Ерофеич, — так же раздельно и громко выговорил он, и снова упал на колени, и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова.

Муха перестала жужжать, и было тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки падали в жестяной таз капельки, падали и плакали — тихо, нежно.

IV

Тотчас за больницей город кончался и начиналось поле, и Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось вширь, и самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием.

Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и прямиком по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков.

На берегу Сазонка улегся в небольшой, покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижен и тепел, как в парнике, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой и красной волной; высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства — огромные, ноздреватые льдины. Они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымались вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку — под нее попало что-то твердое, обернутое материей.

Гостинец.

Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул:

— Господи! Да что же это?

Он совершенно забыл про узелок и испуганны-

ми глазами смотрел на него: ему чудилось, что узелок сам своей волей пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел-глядел не отрываясь — и бурная, клокочущая жалость и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на каемчатый платок — и видел, как на первый день, и на второй, и на третий Сениста ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер одинокий, забытый — как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше — и потухающими глазами он увидел бы гостинец, и возрадовался бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу.

Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался:

— Господи! Да разве мы не люди?

И прямо рассеченной губой он упал на землю — и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий запах подымался от сырой земли, и была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековечная мать, земля принимала в свои объятия грешного сына и теплом, любовью и надеждой поила его страдающее сердце.

А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.

1901



Александр Куприн

По заказу

Илья Платонович Арефьев, фельетонист распространенной газеты, ходит по своему кабинету — от угла кожаного дивана до этажерки с бюстом сурового Шопенгауэра, задевает руками и ногами за спинки стульев и сердится. С ним случилось то, что называется у игроков метким словечком «заколодило». Уже больше часа ломает он голову и не может выжать из нее ни одной живой строчки, а на приготовленной для писания бумаге красуются: солдат, стоящий около полосатой будки, лошадиная морда в профиль с удивленным человеческим глазом и несколько кошек, нарисованных с одного почерка.

Арефьев — старый газетный волк. Не только юные поэты и почтенные сочинительницы дамских повестей, но и «наши молодые, подающие надежды беллетристы» не без волнения пробегают четверговые номера «Русской почты», в которых Илья Платонович, под псевдонимом «графа Альмавивы», производит еженедельное избиение литературных младенцев. Но эти кровавые расправы не составляют его специальности. Он одинаково легко пишет о золотой валюте и

о символистах, о торговле с Китаем и о земских начальниках, о новой драме, о марксистах, о бирже, о тюрьмах, об артезианских колодцах — словом, обо всем, что он слышит в воздухе своим тонким, профессиональным чутьем. Он раньше всех схватывает на лету, ловит за хвост ту тему, которая еще не сделалась сегодня, но сделается завтра всеобщей злобой дня, и тотчас же перед его умом, изощренным в сарказме и гиперболе, вырастают с привычной резкостью смешные, темные и уродливые стороны явления.

До сих пор Илья Платонович не знал никаких технических трудностей своего ремесла. Ему достаточно было только заинтересоваться и овладеть идеей. Он садился к столу уверенный, что слова придут сами собой, и они на самом деле приходили к нему, живые, интересные, хлесткие и остроумные, выливаясь без единой помарки четкими, красивыми строчками на бумагу. Он даже никогда не перечитывал своих фельетонов, прежде чем отослать их с типографским мальчиком в редакцию.

И вот сегодня случилось что-то непонятное. Один видный литературный кружок предпринял в пользу детской санатории издание литературного альманаха. Пригласили участвовать и

Арефьева, причем с надлежащей, очень лестной почтительностью дали ему понять, что от него ждут «чего-нибудь такого, знаете ли, потеплее, что хорошенько расшевелило бы читателя…» Арефьев охотно дал согласие, потом, по обыкновению, забыл о нем, и наконец вчера, когда ему деликатно напомнили, что из-за его рассказа задержали печатание книги на два дня, он сделал и последний промах, обещав самым положительным образом прислать рукопись никак не позже сегодняшнего вечера.



Вернувшись в семь часов вечера домой, он, как и всегда, аккуратно зажег лампу с подвижным металлическим рефлектором, поставил ее по левую руку от себя, положил перед собою наискось десть линованной бумаги, даже обмакнул перо в чернильницу — и вдруг с удивлением почувствовал, что ему не о чем писать. Дело другого рода, если бы предстояло написать ядовитый зажигательный фельетон. Тем более что и темы подвертываются самые ходкие. Вот, например, лежит перед Арефьевым последняя книжка «Литературного приложения», где «наш молодой талантливый поэт» с апломбом выдает за свое произведение стихи Тютчева, известные публике еще по хрестоматиям. Не менее заманчив отчет о благотворительном спектакле, устроенном в пользу сирот севастопольских инвалидов, причем чистый сбор выразился в сумме три рубля семь копеек, а на извозчиков для господ любителей и на угощение их «чаем» потрачено более трехсот рублей. Но к сожалению, в обеих темах нет ничего такого, что могло бы расшевелить читателя и раскрыть его карман в пользу слабогрудых ребятишек.

А между тем Илья Платонович чувствует, что в его душе зашевелился червячок профессиональ-

ного самолюбия. Как? Неужели он, Арефьев, не в состоянии написать простого пасхального рассказа, в то время когда самый захудалый репортер, заведующий обыкновенно бешеными собаками и буйными извозчиками, уже, наверно, успел стащить в редакцию, пользуясь привилегиями, существующими для праздничных произведений, какого-нибудь внезапно раскаявшегося ростовщика или старуху, «мирно засыпающую вечным сном под радостный звон колоколов». Неужели, привыкнув в продолжение стольких лет вызывать в читателе насмешливые и злобные настроения, он потерял навсегда способность затрагивать в его сердце чувства милосердия, нежности и тихой радости? Неужели его талант специализировался, утратил самое драгоценное качество — разносторонность?

Арефьев продолжает свою нервную беготню от угла дивана до бюста великого скептика, а насмешливый ум, как будто нарочно, дразнит его, подсказывая ему шаблонные фразы из «дамских повестей», над которыми он так «охотно и беспощадно глумился в четверговых фельетонах». «Он подошел к окну, прижался пылающим лицом к холодному стеклу, по которому, точно слезы, струились дождевые капли»... «Князь метался

взад и вперед по своему роскошно убранному кабинету, что всегда служило у него признаком дурного настроения»… «Был тихий майский вечер. Солнце садилось, озаряя своим пурпуровым светом окрестность»…

— Хорошо было бы написать рассказ сплошь из таких милых фразочек, — соблазняет Илью Платоновича старая привычка смотреть на все с юмористической стороны. — Да. Так бы и начать: «На башне Св. Стефана глухо пробило полночь. Из-за угла невзрачной лачуги показался незнакомец высокого роста. Лицо его было закутано широким плащом. Шляпа с пером и длинная шпага на боку доказывали его благородное происхождение».

Но Арефьев гонит от себя эту предательскую мысль и опять принимается метаться взад и вперед по своему роскошно убранному кабинету.

— Подожди. Разберемся в этой задаче постепенно, — говорит он сам с собою. — Во-первых, для того, чтобы взволновать и умилить читателя, надо самому над чем-нибудь взволноваться и умилиться. Нужно пролить ту самую слезу, которую в дамских повестях проливают, сваливая ее на слишком крепкий табак, старые полковники по окончании чувствительного рассказа. «В

комнате воцарилась гробовая тишина. Старый полковник окончил рассказ и почему-то слишком долго выколачивал о решетку камина свою трубку, отвернувшись от слушателей. Наконец он выпрямился и, отирая глаза, сказал дрожащим голосом: „Черт побери! Какой, однако, у вас крепкий табак, ротмистр!“ — „А что же сталось с несчастной Заирой?“ — решилась спросить, после долгого молчания, дама с палевой розой в волосах. „Она умерла!“ — глухо ответил старый полковник».

— Черт! Какая чепуха лезет в голову! — бранится вслух Арефьев и сердито толкает ногой подвернувшийся стул. — Ведь этак выходит, что я похож на того анекдотического попугая, который не умел ничего говорить, кроме скверных слов. Нет, будем последовательны и разберем спокойно, на какие сюжеты самый большой праздничный спрос. Ну-с, раньше всего, конечно, легкомысленная жена, возвращающаяся к покинутому мужу с первым ударом колокола. «Револьвер выпал из его рук и с грохотом покатился по полу. Он широко размахнул свои объятия, она упала к нему на грудь, и их уста слились в долгом, долгом поцелуе…» Одним словом, долой легкомысленную даму!..

Затем следует солдат, стоящий в пасхальную ночь на часах. «Какая-то черная тень промелькнула на белом фоне тюремной стены, ярко освещенной луной. Часовой быстро, привычной рукой взвел курок и прицелился. Но в эту минуту в воздухе торжественно-гулко разлился первый звук благовеста, и ружье медленно опустилось вниз… Глубокий вздох облегчения вырвался из взволнованной груди» — и так далее и так далее. Хорошая история, старая, верная, испытанная… Мимо!..

Что же еще?.. Недурно тоже заморозить на улице нищую девочку, глядящую в ярко освещенные окна богатого дома. «Снег медленно падал мягкими пушистыми хлопьями, засыпая неподвижную фигуру ребенка, на лице которого застыла блаженная улыбка». Впрочем, это из рождественских тем — и потому в сторону.

Илья Платонович подходит к окну и равнодушно смотрит на улицу. Вечер тихий, ясный и теплый; все в нем кажется смягченным, размеренным — и задумчивое небо, и чистый полукруг ущербленного месяца, и тонкие ветки акаций, и контуры громадных темных зданий. В чутком и ленивом воздухе голос прохожих и женский смех отдаются с приятной звучностью, даже колеса

экипажей стучат как-то особенно, по-весеннему мягко.

Напротив, через улицу, перед окнами большой кондитерской столпилась кучка оборванных мальчишек. Они никак не могут отвести глаз от выставленных за большими стеклами исполинских баб, размалеванных куличей, сахарных барашков и висящих на ниточках пестрых яиц. Эти мальчишки почему-то раздражают Илью Платоновича.

— Ишь как прилипли к стеклу носами. Ведь вон того, что с колодками под мышкой, наверно, хозяин послал к заказчику-офицеру. А он перед каждым окном зевает. Ну и опоздает и получит трепку ради праздника, а потом в газете заметка о зверском обращении. Так тебе и надо, канальский мальчишка!.. Гм… А впрочем, и еще хорошенькая темочка. «Бледный, изнуренный мальчик любуется на куличи, выставленные в роскошной кондитерской. Неожиданно появляется на сцену таинственный господин с золотыми очками и непременно в богатой лисьей шубе (вообще удивительную энергию проявляет на Святках этот господин!). Завязывается разговор. Оказывается, что „тятька“ у мальчика умер, столетний „дедка“, согнутый в дугу, не слезает с печи, „мамка“ лежит

больная, сестренка… ну и так далее. „Веди меня туда!“ — решительно говорит господин в золотых часах, и через полчаса у мамки появляется хорошее вино и лекарство, прописанное лучшим доктором, дедку накормили манной кашей и купили ему теплый набрюшник, изнуренный мальчик, „радостно блестя глазенками“, прыгает вокруг стола, на котором красуется недорогая пасха, скромный кулич и десяток красных яиц, а господин в лисьей шубе незаметно скрылся, не сказав даже своего имени, но оставив на столе кошелек, наполненный золотом».

Часы за стеной глухим, певучим, медленным баритоном бьют девять. Арефьевым вдруг овладевает странная, незнакомая ему до сих пор душевная усталость и непобедимое отвращение ко всем этим изнуренным мальчикам, покинутым мужьям и таинственным незнакомцам. Он лениво валится на широкий кожаный диван и закрывает глаза.

Если бы кто-нибудь поглядел теперь на Илью Платоновича, то, наверно, почувствовал бы жалость к этому злоязычному фельетонисту, к этому «господину насмешнику». Лицо его посерело и точно состарилось сразу лет на десять, на лбу резче обозначились тревожные зигзаги морщин,

закрытые глаза глубоко ушли в черные тени орбит, а складки вокруг губ, опустившись вниз, придали рту горькое и брезгливое выражение.

Но Илья Платонович не спит. На него нашло неподвижное состояние полудремоты, полубодрствования и грезы, неожиданно и бессознательно цепляющихся друг за друга. Время исчезло. Стены кабинета ушли в далекую мглу, растаяли, и Арефьев живет пестрой, изменчивой, фантастической жизнью, почти такой же яркой, как и сама действительность.

Видит он себя худым, взъерошенным, плутоватым мальчуганом, сыном соборного дьячка в глухом заброшенном городишке. Идет светлая заутреня… Правый клирос битком набит любителями, из которых на скорую руку составил церковный хор приехавший на пасхальные каникулы семинарист, протопопов сын. Вот они все, как живые, стоят перед Арефьевым. Первый тенор, младший чиновник почтовой конторы, в новеньком мундире, за борт которого запущены белые перчатки, блестит своей напомаженной головой и благоухает цветочным одеколоном. Он поет немного в нос, сильно вибрирующим голосом, а когда исполняет соло, то небрежно обтирается спиной о стену, развязно переплетает

нога за ногу, закидывает голову назад и томно закрывает глаза. Сам регент — тонкий, высокий и благообразный, — в очень длинном сюртуке, дирижирует с утонченными манерами, вызывающими общее восхищение. Держа камертон двумя пальцами, а остальные изящно оттопырив, он на нежных местах бережно, чуть заметно для глаза, пошевеливает картинно изогнутой правой рукой, изредка протягивая вперед левую руку с предостерегающим и останавливающим жестом; при этом его лицо с приподнятыми бровями все сильнее и сильнее принимает удивленное, испуганное и умиленное выражение. Но на местах, требующих форте, он широко и плавно размахивает обеими руками, встряхивает головой, раскачивается туловищем и с угрожающим видом морщит нос и нахмуривает брови. Купеческий сын Ноздрунов, толстый, красный, с вылезшим на шею галстуком, впился в регента выпученными, напряженными глазами и даже весь подался вперед от усиленного внимания. У него нет ровно никакого слуха, но зато он, по выражению сына протопопа, обладает «феноменальным басом», и потому его употребляют, «наподобие тарана», в самых оглушительных местах. Когда такое место подходит, регент обо-

рачивается к феноменальному басу, делает ему страшные глаза и отрывисто, точно прокалывая кого-то шпагою, вытягивает в его сторону руку с камертоном. Тогда Ноздрунов, весь багровый, с надутыми жилами на лбу и с трясущимися губами, испускает рев, в котором на мгновение утопает весь хор.

Ильюшка стоит в первом ряду. Он не сводит счастливых и преданных глаз с лица регента, и ему почти нет времени обернуться на толпу, наполняющую церковь, которая сверху представляется ему как бесчисленное множество голов, огней, однообразных, радостных, светлых лиц.

Обедня кончилась. Причт и за ним хор выходят из церкви святить пасхи и куличи, разложенные рядами в церковной ограде. Весело и неожиданно встречает всех выходящих из церкви сияющее, ослепительное, весеннее утро. Голубое небо, молодая травка, благоухающие почки деревьев, возбужденный крик воробьев на погосте — все это снова приподымает в усталом Ильюшке ослабевшее было от усталости чувство праздника. Он громко пел вместе с хором, с трудом улавливая чужие голоса сквозь ликующий звон колоколов, и в то же время ощущает на себе взгляд народной толпы и потому сохраняет на лице озабоченное,

даже несколько хмурое выражение человека, исполняющего трудное, важное и серьезное дело.

А на другой день надо непременно сбегать на колокольню и позвонить. Это, по старому, давнишнему обычаю, дозволяется каждому в первые три дня, и без этого Пасха не в Пасху. Лестницы, идущие в ярусах колокольни, темны, покрыты пылью и так круты, что у Ильюшки дрожат ноги, когда он наконец взбирается наверх. Уцепившись похолодевшими пальцами за перила, он заглядывает вниз. Ух, как страшно, как весело и как необыкновенно! Дома́ кажутся маленькими и совсем новыми, никогда не виданными. Под ногами в воздухе быстро носятся, резко и радостно вскрикивая, стрижи, кверху кружатся, блестя крыльями, испуганные голуби. Вся колокольня дрожит от неумолчного звука, кричишь и сам не слышишь своего голоса. И эти ощущения так странно и прекрасно смешиваются, что сам не разберешь, кто здесь звонит, кто сияет и кто смеется: голубое небо, колокола или опьяненная восторгом детская душа.

Лежащий на диване человек с бледным старообразным лицом слабо улыбается. Теперь он уже не Илья Платонович Арефьев, гроза юных стихотворцев, талантливый насмешник, пре-

зрительно и напряженно жгущий свою жизнь в котле общественных интересов и нездоровых страстей больного города. Он — дьячковский сын Ильюшка, веселый, беззаботный, вертлявый уличный мальчишка, жадно глотающий все впечатления своего могучего полуживотного бытия. И Арефьев на несколько минут испытывает внутри себя чувство такой свежести, чистоты и ясности, как будто чья-то невидимая рука нежно и заботливо стерла с его души всю накопившуюся на ней копоть ненависти, зависти, раздраженного самолюбия, пресыщения и скуки. И кажется ему вместе с Ильюшкой, что с каждым вздохом в грудь к нему вторгается весь праздничный мир красок, звуков и запахов, всегда новых, всегда очаровательных и бесконечно разнообразных.

Но проплывают мимо эти чудные, солнечные дни. Тянутся другие картины, и чем дальше, тем они серее и печальнее, — длинная история незаглушенных обид, жестокой борьбы за успех и медленного нравственного окостенения. Неумолимая память вызывает наконец и тот далекий пасхальный вечер, вспоминать о котором так боится всегда Арефьев.

О, как отчетливо все это помнится. Сначала контора редакции, где Илья Платонович полу-

чает гонорар за свой первый большой рассказ. Редактор, старый, суровый и чуткий газетных дел мастер, понял, должно быть, что в лице нового сотрудника входит в газету большая, оригинальная и свежая сила. Он только что обласкал Арефьева в своем кабинете, долго жал ему руку и наконец — неслыханная до сих пор в преданиях редакции любезность! — сказал дружески-фамильярным тоном:

— Рассказ ваш пойдет завтра. Но если вам нужны деньги, пожалуйста, без стеснения. Если угодно, мы вам можем выдать гонорар по корректурному листу.

Еще бы не угодно! Арефьев и сам только что собирался попросить «рубля три авансом». Там, в громадном доме, набитом разной беднотой, чуть ли не на чердаке его найдут теперь с замиранием сердца женщина и ребенок. Там сидят в темноте, положительно не на что купить керосину, там продали сегодня утром единственный серый теплый платок, чтобы сварить обед, там квартирные хозяева, дворники, нищета и озлобление. Прыгающей рукой расписывается Арефьев на талоне, в то время как кассир, коротенький, толстый, самоуверенный и вечно недовольный старик с лицом обиженного попугая, придвигает к нему пачку

бумажек, придавленных сверху кучкой серебра.


Съ праздникомъ Св. Пасхи.
EAS
9793/4

Да, это была тяжелая пора в жизни Ильи Платоновича, неудачная, голодная, вся сплошь состоящая из бешеного хватанья случайных кусков вроде уроков, переписки, вечерних занятий. Но отчего же они с женой несли тогда так бодро свое каторжное бремя, без ропота, без отвратительной горечи взаимных упреков, часто даже с гордой, молодой, вызывающей насмешкой над судьбой? Отчего же потом, когда эта судьба наконец милостиво улыбнулась им и Арефьев такими большими шагами пошел по пути известности и обеспеченной, даже комфортабельной жизни, — отчего распался и рассыпался их душевный мир, превратясь в пустое загрязненное место? Не оттого ли, что со смертью ребенка исчезла та крепкая, хотя и болезненная связь, которая единила их сердца?

Странный и печальный был этот ребенок. На нем как будто бы целиком отразились вся нищета и убожество, среди которых он был зачат. Начиная с года, он перестал расти. Росла только его голова, огромная, пухлая, точно налитая какой-то бледной, нездоровой жидкостью; но тело оставалось таким же жалким и слабым, а тоненькие, как сухие веточки, руки и ноги бессильно висели, не развиваясь и не становясь крепче. Хороши у

него были только глаза, большие, кроткие и печальные, такого удивительного цвета, которого, по выражению Гейне, не бывает ни у людей, ни у зверей, а лишь изредка у цветов. Осужденный на вечную неподвижность, он с неестественным терпением переносил свои постоянные болезни. Любимыми разговорами этого всегда серьезного, вечно задумчивого мальчика были разговоры о Боге, об ангелах, о мертвецах, о похоронах и о кладбищах. Он точно знал, что скоро умрет, и никогда не улыбался.

Ах, как мучительно подробно вспоминается Илье Платоновичу этот пасхальный вечер, когда он вошел в комнату, до того нагруженный кульками и бумажными картузами, что принужден был локтем открывать дверь. А сзади него дворник, уже задобренный и потому снисходительный, благосклонный и улыбающийся, нес свертки, которых не мог захватить с пролетки сам Арефьев.

Какая радость была в этот святой вечер в маленькой каморке на четвертом этаже. Разрезали три свечки на половины и зажгли все шесть кусков — безумная роскошь. На бензинке (о ней раньше и мечтать не смели) жарились готовые отбивные котлеты и варился настоящий «кофе

мокка». На столе стоял большой кулич и большая пасха для взрослых и малюсенькие для мальчика. Илье Платоновичу не сиделось на месте. Он ходил перед Гришей на четвереньках, представляя медведя, прыгал лягушкой и, в роли злой собаки, с рычанием делал вид, что кусает теплую грудку ребенка. Он точно опьянел от непривычных ощущений сытости, тепла и довольства, а главное — от первого литературного успеха, всю ядовитую сладость которого даже и представить себе не может человек, не испытавший его.

Даже и Гриша улыбнулся в первый раз в своей маленькой жизни. Он протянул ручки к картонному херувимчику, водруженному на куличе и парившему на одной ноге, и с лицом, сделавшимся неожиданно прекрасным от светлой улыбки, прошептал:

— Ангелок! Ангелок!

Боже мой, где они теперь? Жену Арефьев видел три года тому назад в Ницце с каким-то подагрическим старцем необыкновенно благородного и изношенного вида. А Гришу взяли к себе ангелы, которым он так радостно улыбался…

Илья Платонович, точно его подбросили, вскочил с дивана. Лицо его было мокро от слез, но он их не стыдился, потому что они дали ему на

несколько минут чувство давно не испытанной, глубокой человеческой скорби, очищающей и смягчающей сердце… Пройдясь по комнате, он заглянул в окно. По-прежнему у окон кондитерской толпились оборванные ребятишки, топая озябшими ногами. И ему вспомнилась та злоба, с которой он только что иронизировал над «исхудалыми мальчиками» и «таинственными господами в золотых очках». Но теперь уже не раздражение, глядя на них, почувствовал Арефьев, а тихую, нежную, родственную жалость.

«Все мы, — подумалось ему, — так или иначе — бедные, исхудалые, брошенные дети, и как ужасна должна быть жизнь, если совсем потерять веру в таинственных добрых незнакомцев!»

И встали в его воображении все эти беспомощные детские фигуры, мерзнущие на чердаках, дрожащие в промозглых подвалах, бегущие на улицах с назойливым «Христа ради» за прохожими, эти чистые души, которым озлобленные жизнью взрослые прививают свои пороки, мерзость и вечную ложь; девочки, едва научившись говорить и уже составляющие предмет гнусной торговли, малолетние преступники, воришки и пьяницы; наконец, несчастные уроды — горбатые, рахитические, идиоты, эпилеп-

тики, разбитые и исковерканные с колыбели наследственными болезнями. И тогда в уме Ильи Платоновича вдруг явственно прозвучало величественное изречение Сакья Муни, воплотившее в себе человеческую мудрость всех веков и народов: «Кто осушил слезы на лице ребенка и вызвал улыбку на его уста, тот в сердце милостивого Будды достойнее человека, построившего самый величественный храм».

Илья Платонович уже второй час сидит, не отходя от стола, и из-под его пера с привычной быстротой бегут четкие строки. Он еще и сам не знает, чем окончить эту статью, озаглавленную «Улыбка ребенка», но он чувствует, как сладко и жутко шевелятся у него корни волос на голове и как по его спине пробегает давно позабытый озноб вдохновения. И все время стоит пред его глазами уродливая голова, озаренная неожиданно радостной улыбкой.

1901



Леночка

Проездом из Петербурга в Крым полковник генерального штаба Возницын нарочно остановился на два дня в Москве, где прошли его детство и юность. Говорят, что умные животные, предчувствуя смерть, обходят все знакомые, любимые места в жилье, как бы прощаясь с ними. Близкая смерть не грозила Возницыну — в свои сорок пять лет он был еще крепким, хорошо сохранившимся мужчиной. Но в его вкусах, чувствах и отношениях к миру совершался какой-то незаметный уклон, ведущий к старости. Сам собою сузился круг радостей и наслаждений, явились оглядка и скептическая недоверчивость во всех поступках, выветрилась бессознательная, бессловесная, звериная любовь к природе, заменившись утонченным смакованием красоты, перестала волновать тревожным и острым волнением обаятельная прелесть женщины, а главное — первый признак душевного увядания! — мысль о собственной смерти стала приходить не с той прежней беззаботной и легкой мимолетностью, с какой она приходила прежде, — точно должен был рано или поздно умереть не сам он, а кто-то

другой, по фамилии Возницын, — а в тяжелой, резкой, жестокой, бесповоротной и беспощадной ясности, от которой по ночам холодели волосы на голове и пугливо падало сердце. И вот его потянуло побывать в последний раз на прежних местах, оживить в памяти дорогие, мучительно нежные, обвеянные такой поэтической грустью воспоминания детства, растравить свою душу сладкой болью по ушедшей навеки, невозвратимой чистоте и яркости первых впечатлений жизни.

Он так и сделал. Два дня он разъезжал по Москве, посещая старые гнезда. Заехал в пансион на Гороховом поле, где когда-то с шести лет воспитывался под руководством классных дам по фребелевской системе. Там все было переделано и перестроено: отделения для мальчиков уже не существовало, но в классных комнатах у девочек по-прежнему приятно и заманчиво пахло свежим лаком ясеневых столов и скамеек и еще чудесным смешанным запахом гостинцев, особенно яблоками, которые, как и прежде, хранились в особом шкафу на ключе. Потом он завернул в кадетский корпус и в военное училище. Побывал он и в Кудрине, в одной домовой церкви, где мальчиком-кадетом он прислуживал в алтаре, подавая кадило и выходя в стихаре

со свечою к Евангелию за обедней, но также крал восковые огарки, допивал «теплоту» после причастников и разными гримасами заставлял прыскать смешливого дьякона, за что однажды и был торжественно изгнан из алтаря батюшкой, величественным, тучным старцем, поразительно похожим на запрестольного бога Саваофа. Проходил нарочно мимо всех домов, где когда-то он испытывал первые наивные и полудетские томления любви, заходил во дворы, поднимался по лестницам и почти ничего не узнавал — так все перестроилось и изменилось за целую четверть века. Но с удивлением и с горечью заметил Возницын, что его опустошенная жизнью, очерствелая душа оставалась холодной и неподвижной и не отражала в себе прежней, знакомой печали по прошедшему, такой светлой, тихой, задумчивой и покорной печали…

«Да, да, да, это старость, — повторял он про себя и грустно кивал головою. — Старость, старость, старость… Ничего не поделаешь…»

После Москвы дела заставили его на сутки остановиться в Киеве, а в Одессу он приехал в начале Страстной недели. Но на море разыгрался длительный весенний шторм, и Возницын, которого укачивало при самой легкой зыби, не решился

садиться на пароход. Только к утру Страстной субботы установилась ровная, безветренная погода.

В шесть часов пополудни пароход «Великий князь Алексей» отошел от мола Практической гавани. Возницына никто не провожал, и он был этим очень доволен, потому что терпеть не мог этой всегда немного лицемерной и всегда тягостной комедии прощания, когда бог знает зачем стоишь целых полчаса у борта и напряженно улыбаешься людям, стоящим тоскливо внизу на пристани, выкрикиваешь изредка театральным голосом бесцельные и бессмысленные фразы, точно предназначенные для окружающей публики, шлешь воздушные поцелуи и наконец-то вздохнешь с облегчением, чувствуя, как пароход начинает грузно и медленно отваливать.

Пассажиров в этот день было очень мало, да и то преобладали третьеклассные. В первом классе, кроме Возницына, как ему об этом доложил лакей, ехали только дама с дочерью. «И прекрасно», — подумал офицер с облегчением.


ХРИСТОСЪ
ВОСКРЕСЕ!

Все обещало спокойное и удобное путешествие. Каюта досталась отличная — большая и светлая, с двумя диванами, стоявшими под прямым углом, и без верхних мест над ними. Море, успокоившееся за ночь после мертвой зыби, еще кипело мелкой частой рябью, но уже не качало. Однако к вечеру на палубе стало свежо.

В эту ночь Возницын спал с открытым иллюминатором, и так крепко, как он уже не спал много месяцев, если не лет. В Евпатории его разбудил грохот паровых лебедок и беготня по палубе. Он быстро умылся, заказал себе чаю и вышел наверх.

Пароход стоял на рейде в полупрозрачном молочно-розовом тумане, пронизанном золотом восходящего солнца. Вдали чуть заметно желтели плоские берега. Море тихо плескалось о борта парохода. Чудесно пахло рыбой, морскими водорослями и смолой. С большого баркаса, приставшего вплотную к «Алексею», перегружали какие-то тюки и бочки. «Майна, вира, вира помалу, стоп!» — звонко раздавались в утреннем чистом воздухе командные слова.

Когда баркас отвалил и пароход тронулся в путь, Возницын спустился в столовую. Странное зрелище ожидало его там. Столы, расставлен-

ные вдоль стен большим покоем, были весело и пестро убраны живыми цветами и заставлены пасхальными кушаньями. Зажаренные целиком барашки и индейки поднимали высоко вверх свои безобразные голые черепа на длинных шеях, укрепленных изнутри невидимыми проволочными стержнями. Эти тонкие, загнутые в виде вопросительных знаков шеи колебались и вздрагивали от толчков идущего парохода, и казалось, что какие-то странные, невиданные допотопные животные, вроде бронтозавров или ихтиозавров, как их рисуют на картинах, лежат на больших блюдах, подогнув под себя ноги, и с суетливой и комической осторожностью оглядываются вокруг, пригибая головы книзу. А солнечные лучи круглыми яркими столбами текли из иллюминаторов, золотили местами скатерть, превращали краски пасхальных яиц в пурпур и сапфир и зажигали живыми огнями гиацинты, незабудки, фиалки, лакфиоли, тюльпаны и анютины глазки.

К чаю вышла в салон и единственная дама, ехавшая в первом классе. Возницын мимоходом быстро взглянул на нее. Она была некрасива и немолода, но с хорошо сохранившейся высокой, немного полной фигурой, просто и хорошо одетой

в просторный светло-серый сак с шелковым шитьем на воротнике и рукавах. Голову ее покрывал легкий синий, почти прозрачный, газовый шарф. Она одновременно пила чай и читала книжку, вернее всего французскую, как решил Возницын, судя по компактности, небольшому размеру, формату и переплету канареечного цвета.

Что-то страшно знакомое, очень давнишнее мелькнуло Возницыну не так в ее лице, как в повороте шеи и в подъеме век, когда она обернулась на его взгляд. Но это бессознательное впечатление тотчас же рассеялось и забылось.

Скоро стало жарко, и потянуло на палубу. Пассажирка вышла наверх и уселась на скамье, с той стороны, где не было ветра. Она то читала, то, опустив книжку на колени, глядела на море, на кувыркавшихся дельфинов, на дальний красноватый, слоистый и обрывистый берег, покрытый сверху скудной зеленью.

Возницын ходил по палубе, вдоль бортов, огибая рубку первого класса. Один раз, когда он проходил мимо дамы, она опять внимательно посмотрела на него, посмотрела с каким-то вопрошающим любопытством, и опять ему показалось, что они где-то встречались. Мало-помалу это ощущение стало беспокойным и неотвязным.

И главное — офицер теперь знал, что и дама испытывает то же самое, что и он. Но память не слушалась его, как он ее ни напрягал.

И вдруг, поравнявшись уже в двадцатый раз с сидевшей дамой, он внезапно, почти неожиданно для самого себя, остановился около нее, приложил пальцы по-военному к фуражке и, чуть звякнув шпорами, произнес:

— Простите мою дерзость… но мне все время не дает покоя мысль, что мы с вами знакомы или, вернее… что когда-то, очень давно, были знакомы.

Она была совсем некрасива — безбровая блондинка, почти рыжая, с сединой, заметной благодаря светлым волосам только издали, с белыми ресницами над синими глазами, с увядающей веснушчатой кожей на лице. Свеж был только ее рот, розовый и полный, очерченный прелестно изогнутыми линиями.

— И я тоже, представьте себе. Я все сижу и думаю, где мы с вами виделись, — ответила она. — Моя фамилия — Львова. Это вам ничего не говорит?

— К сожалению, нет… А моя фамилия — Возницын.

Глаза дамы вдруг заискрились веселым и таким

знакомым смехом, что Возницыну показалось — вот-вот он сейчас ее узнает.

— Возницын? Коля Возницын? — радостно воскликнула она, протягивая ему руку. — Неужели и теперь не узнаете? Львова — это моя фамилия по мужу… Но нет, нет, вспомните же наконец!.. Вспомните: Москва, Поварская, Борисоглебский переулок — церковный дом… Ну? Вспомните своего товарища по корпусу… Аркашу Юрлова…

Рука Возницына, державшая руку дамы, задрожала и сжалась. Мгновенный свет воспоминания точно ослепил его.

— Господи… Неужели Леночка?.. Виноват… Елена… Елена…

— Владимировна. Забыли… А вы — Коля, тот самый Коля, неуклюжий, застенчивый и обидчивый Коля?.. Как странно! Какая странная встреча!.. Садитесь же, пожалуйста. Как я рада…

— Да, — промолвил Возницын чью-то чужую фразу, — мир, в конце концов, так тесен, что каждый с каждым непременно встретится. Ну, рассказывайте же, рассказывайте о себе. Что Аркаша? Что Александра Милиевна? Что Олечка?

В корпусе Возницын тесно подружился с одним из товарищей — Юрловым. Каждое воскресенье он, если только не оставался без отпуска, ходил

в его семью, а на Пасху и Рождество, случалось, проводил там все каникулы. Перед тем как поступать в военное училище, Аркаша тяжело заболел. Юрловы должны были уехать в деревню. С той поры Возницын потерял их из виду. Много лет тому назад он от кого-то вскользь слышал, что Леночка долгое время была невестой офицера и что офицер этот со странной фамилией Же́нишек — с ударением на первом слоге — как-то нелепо и неожиданно застрелился.

— Аркаша умер у нас в деревне в девяностом году, — говорила Львова. — У него оказалась саркома головы. Мама пережила его только на год. Олечка окончила медицинские курсы и теперь земским врачом в Сердобском уезде. А раньше она была фельдшерицей у нас в Жмакине. Замуж ни за что не хотела выходить, хотя были партии, и очень приличные. Я двадцать лет замужем, — она улыбнулась грустно сжатыми губами, одним углом рта, — старуха уж… Муж — помещик, член земской управы. Звезд с неба не хватает, но честный человек, хороший семьянин, не пьяница, не картежник и не развратник, как все кругом… и за это слава Богу…

— А помните, Елена Владимировна, как я был в вас влюблен когда-то! — вдруг перебил ее Воз-

ницын.

Она засмеялась, и лицо ее сразу точно помолодело. Возницын успел на миг заметить золотое сверкание многочисленных пломб в ее зубах.

— Какие глупости. Так… мальчишеское ухаживание. Да и неправда. Вы были влюблены вовсе не в меня, а в барышень Синельниковых, во всех четверых по очереди. Когда выходила замуж старшая, вы повергали свое сердце к ногам следующей за нею…

— Ага! Вы все-таки ревновали меня немножко? — заметил Возницын с шутливым самодовольством.

— Вот уж ничуть… Вы для меня были вроде брата Аркаши. Потом, позднее, когда нам было уже лет по семнадцати, тогда, пожалуй… мне немножко было досадно, что вы мне изменили… Вы знаете, это смешно, но у девчонок — тоже женское сердце. Мы можем совсем не любить безмолвного обожателя, но ревнуем его к другим… Впрочем, все это пустяки. Расскажите лучше, как вы поживаете и что делаете.

Он рассказал о себе, об академии, о штабной карьере, о войне, о теперешней службе. Нет, он не женился: прежде пугала бедность и ответственность перед семьей, а теперь уже поздно. Были,

конечно, разные увлечения, были и серьезные романы.

Потом разговор оборвался, и они сидели молча, глядя друг на друга ласковыми, затуманенными глазами. В памяти Возницына быстро-быстро проносилось прошлое, отделенное тридцатью годами. Он познакомился с Леночкой в то время, когда им не исполнилось еще и по одиннадцати лет. Она была худой и капризной девочкой, задирой и ябедой, некрасивой со своими веснушками, длинными руками и ногами, светлыми ресницами и рыжими волосами, от которых всегда отделялись и болтались вдоль щек прямые тонкие космы. У нее по десяти раз на дню происходили с Возницыным и Аркашей ссоры и примирения. Иногда случалось и поцарапаться… Олечка держалась в стороне: она всегда отличалась благонравием и рассудительностью. На праздниках все вместе ездили танцевать в Благородное собрание, в театры, в цирк, на катки. Вместе устраивали елки и детские спектакли, красили на Пасху яйца и рядились на Рождество. Часто боролись и возились, как молодые собачки.

Так прошло три года. Леночка, как и всегда, уехала на лето с семьей к себе в Жмакино, а когда

вернулась осенью в Москву, то Возницын, увидев ее в первый раз, раскрыл глаза и рот от изумления. Она по-прежнему осталась некрасивой, но в ней было нечто более прекрасное, чем красота, тот розовый сияющий расцвет первоначального девичества, который, бог знает каким чудом, приходит внезапно и в какие-нибудь недели вдруг превращает вчерашнюю неуклюжую, как подрастающий дог, большерукую, большеногую девчонку в очаровательную девушку. Лицо у Леночки было еще покрыто крепким деревенским румянцем, под которым чувствовалась горячая, весело текущая кровь, плечи округлились, обрисовались бедра и точные, твердые очертания грудей, все тело стало гибким, ловким и грациозным.

И отношения как-то сразу переменились. Переменились после того, как в один из субботних вечеров, перед всенощной, Леночка и Возницын, расшалившись в полутемной комнате, схватились бороться. Окна тогда еще были открыты, из палисадника тянуло осенней ясной свежестью и тонким винным запахом опавших листьев, и медленно, удар за ударом, плыл редкий, меланхоличный звон большого колокола Борисоглебской церкви.

Они сильно обвили друг друга руками крестнакрест и, соединив их позади, за спинами, тесно прижались телами, дыша друг другу в лицо. И вдруг, покрасневши так ярко, что это было заметно даже в синих сумерках вечера, опустив глаза, Леночка зашептала отрывисто, сердито и смущенно:

— Оставьте меня… пустите… Я не хочу…

И прибавила со злым взглядом влажных, блестящих глаз:

— Гадкий мальчишка.

Гадкий мальчишка стоял, опустив вниз и нелепо растопырив дрожащие руки. Впрочем, у него и ноги дрожали, и лоб стал мокрым от внезапной испарины. Он только что ощутил под своими руками ее тонкую, послушную, женственную талию, так дивно расширяющуюся к стройным бедрам, он почувствовал на своей груди упругое и податливое прикосновение ее крепких высоких девических грудей и услышал запах ее тела — тот радостный пьяный запах распускающихся тополевых почек и молодых побегов черной смородины, которыми они пахнут в ясные, но мокрые весенние вечера, после мгновенного дождя, когда небо и лужи пылают от зари и в воздухе гудят майские жуки.



Так начался для Возницына этот год любовного томления, буйных и горьких мечтаний, единиц и тайных слез. Он одичал, стал неловок и грубоват от мучительной застенчивости, ронял ежеминутно ногами стулья, зацеплял, как граблями, руками за все шаткие предметы, опрокидывал за столом стаканы с чаем и молоком. «Совсем наш Коленька охалпел», — добродушно говорила про

него Александра Милиевна.

Леночка издевалась над ним. А для него не было большей муки и большего счастья, как стать тихонько за ее спиной, когда она рисовала, писала или вышивала что-нибудь, и глядеть на ее склоненную шею с чудесной белой кожей и с вьющимися легкими золотыми волосами на затылке, видеть, как коричневый гимназический корсаж на ее груди то морщится тонкими косыми складками и становится просторным, когда Леночка выдыхает воздух, то опять выполняется, становится тесным и так упруго, так полно округлым. А вид наивных запястий ее девических светлых рук и благоухание распускающегося тополя преследовали воображение мальчика в классе, в церкви и в карцере.

Все свои тетради и переплеты исчертил Возницын красиво сплетающимися инициалами Е. и Ю. и вырезывал их ножом на крышке парты посреди пронзенного и пылающего сердца. Девочка, конечно, своим женским инстинктом угадывала его безмолвное поклонение, но в ее глазах он был слишком свой, слишком ежедневный. Для него она внезапно превратилась в какое-то цветущее, ослепительное, ароматное чудо, а Возницын остался для нее все тем же вихрястым маль-

чишкой, с басистым голосом, с мозолистыми и шершавыми руками, в узеньком мундирчике и широчайших брюках. Она невинно кокетничала со знакомыми гимназистами и с молодыми поповичами с церковного двора, но, как кошке, острящей свои коготки, ей доставляло иногда забаву обжечь и Возницына быстрым, горячим и лукавым взглядом. Но если, забывшись, он чересчур крепко жал ее руку, она грозилась розовым пальчиком и говорила многозначительно:

— Смотрите, Коля, я все маме расскажу.

И Возницын холодел от непритворного ужаса.

Конечно, Коля остался в этот сезон на второй год в шестом классе, и, конечно, этим же летом он успел влюбиться в старшую из сестер Синельниковых, с которыми танцевал в Богородске на дачном кругу. Но на Пасху его переполненное любовью сердце узнало момент райского блаженства…

Пасхальную заутреню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви, где у Александры Милиевны было даже свое почетное место, с особым ковриком и складным мягким стулом. Но домой они возвращались почему-то не вместе. Кажется, Александра Милиевна с Олечкой остались святить куличи и пасхи, а Леночка, Аркаша и Коля

первыми пошли из церкви. Но по дороге Аркаша внезапно и, должно быть, дипломатически исчез — точно сквозь землю провалился. Подростки остались вдвоем.

Они шли под руку, быстро и ловко изворачиваясь в толпе, обгоняя прохожих, легко и в такт ступая молодыми, послушными ногами. Все опьяняло их в эту прекрасную ночь: радостное пение, множество огней, поцелуи, смех и движение в церкви, а на улице — это множество необычно бодрствующих людей, темное теплое небо с большими мигающими весенними звездами, запах влажной молодой листвы из садов за заборами, эта неожиданная близость и затерянность на улице, среди толпы, в поздний предутренний час.

Притворяясь перед самим собою, что он делает это нечаянно, Возницын прижал к себе локоток Леночки. Она ответила чуть заметным пожатием. Он повторил эту тайную ласку, и она опять отозвалась. Тогда он едва слышно нащупал в темноте концы ее тонких пальчиков и нежно погладил их, и пальцы не сопротивлялись, не сердились, не убегали.

Так подошли они к воротам церковного дома. Аркаша оставил для них калитку открытой. К дому нужно было идти по узким деревянным

мосткам, проложенным, ради грязи, между двумя рядами широких столетних лип. Но когда за ними хлопнула затворившаяся калитка, Возницын поймал Леночкину руку и стал целовать ее пальцы — такие теплые, нежные и живые.

— Леночка, я люблю, люблю вас…

Он обнял ее вокруг талии и в темноте поцеловал куда-то, кажется, ниже уха. Шапка от этого у него сдвинулась и упала на землю, но он не стал ее разыскивать. Он все целовал похолодевшие щеки девушки и шептал, как в бреду:

— Леночка, я люблю, люблю…

— Не надо, — сказала она тоже шепотом, и он по этому шепоту отыскал губы. — Не надо… Пустите меня… пуст…

Милые, такие пылающие, полудетские, наивные, неумелые губы! Когда он ее целовал, она не сопротивлялась, но и не отвечала на поцелуи и вздыхала как-то особенно трогательно — часто, глубоко и покорно. А у него по щекам бежали, холодя их, слезы восторга. И когда он, отрываясь от ее губ, подымал глаза кверху, то звезды, осыпавшие липовые ветви, плясали, двоились и расплывались серебряными пятнами, преломляясь сквозь слезы.

— Леночка… Люблю…

— Оставьте меня…

— Леночка!

И вдруг она воскликнула неожиданно сердито:

— Да пустите же меня, гадкий мальчишка! Вот увидите, вот я все, все, все маме расскажу. Непременно!

Она ничего маме не рассказала, но с этой ночи уже больше никогда не оставалась одна с Возницыным. А там подошло и лето…

— А помните, Елена Владимировна, как в одну прекрасную пасхальную ночь двое молодых людей целовались около калитки церковного дома? — спросил Возницын.

— Ничего я не помню… Гадкий мальчишка, — ответила она, мило смеясь. — Однако смотрите-ка, сюда идет моя дочь. Я вас сейчас познакомлю… Леночка, это Николай Иваныч Возницын, мой старый-старый друг, друг моего детства. А это моя Леночка. Ей теперь как раз столько лет, сколько было мне в одну пасхальную ночь…

— Леночка большая и Леночка маленькая, — сказал Возницын.

— Нет. Леночка старенькая и Леночка молодая, — возразила спокойно, без горечи Львова.

Леночка была очень похожа на мать, но рослее и красивее, чем та в свои девические годы. Рыжие

волосы матери перешли у нее в цвет каленого ореха с металлическим оттенком, темные брови были тонкого и смелого рисунка, но рот носил чувственный и грубоватый оттенок, хотя был свеж и прелестен.

Девушка заинтересовалась плавучими маяками, и Возницын объяснил ей их устройство и цель. Потом он заговорил о неподвижных маяках, о глубине Черного моря, о водолазных работах, о крушениях пароходов. Он умел прекрасно рассказывать, и девушка слушала его, дыша полуоткрытым ртом, не сводя с него глаз.

А он… чем больше он глядел на нее, тем больше его сердце заволакивалось мягкой и светлой грустью — сострадательной к себе, радостной к ней, к этой новой Леночке, и тихой благодарностью к прежней. Это было именно то самое чувство, которого он так жаждал в Москве, только светлое, почти совсем очищенное от себялюбия.

И когда девушка отошла от них, чтобы посмотреть на Херсонесский монастырь, он взял руку Леночки-старшей и осторожно поцеловал ее.

— Нет, жизнь все-таки мудра, и надо подчиняться ее законам, — сказал он задумчиво. — И, кроме того, жизнь прекрасна. Она — вечное воскресение из мертвых. Вот мы уйдем с вами,

разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и таланта вырастут, как из праха, новая Леночка и новый Коля Возницын… Все связано, все сцеплено. Я уйду, но я же и останусь. Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живем вместе — и мертвые, и воскресающие.

Он еще раз наклонился, чтобы поцеловать ее руку, а она нежно поцеловала его в сильно серебрящийся висок. И когда они после этого посмотрели друг на друга, то глаза их были влажны и улыбались ласково, устало и печально.

1910



Пасхальные яйца

И правда: что поделаешь, когда не везет? Приходится смириться, закрыть глаза, не дышать, спрятаться куда-нибудь в угол, накрыться с головой одеялом и терпеливо ждать смерти, в надежде, что при будущем земном воплощении судьба, вместо спины, повернется к тебе лицом.

Мне, милый мой, никогда и ни в чем не везло. Есть люди, которые ставят пятнадцать раз подряд на zero и, вопреки теории вероятностей, каждый раз выигрывают. Есть удивительные счастливцы на уличные находки, на лотереи-аллегри и на выигрышные билеты. Существуют удачники, благополучно избегающие пожаров, крушений на железных дорогах, заразных болезней, начальственного гнева, бешеных собак и карманных жуликов. Но есть и несчастные, жалкие, позорные, смешные и презренные пасынки жизни, которых судьба с утра до вечера, из года в год, стукает и стукает по голове, как деревянных турок в музее восковых фигур. Из этих париев я — номер первый; в том нет никакого сомнения.

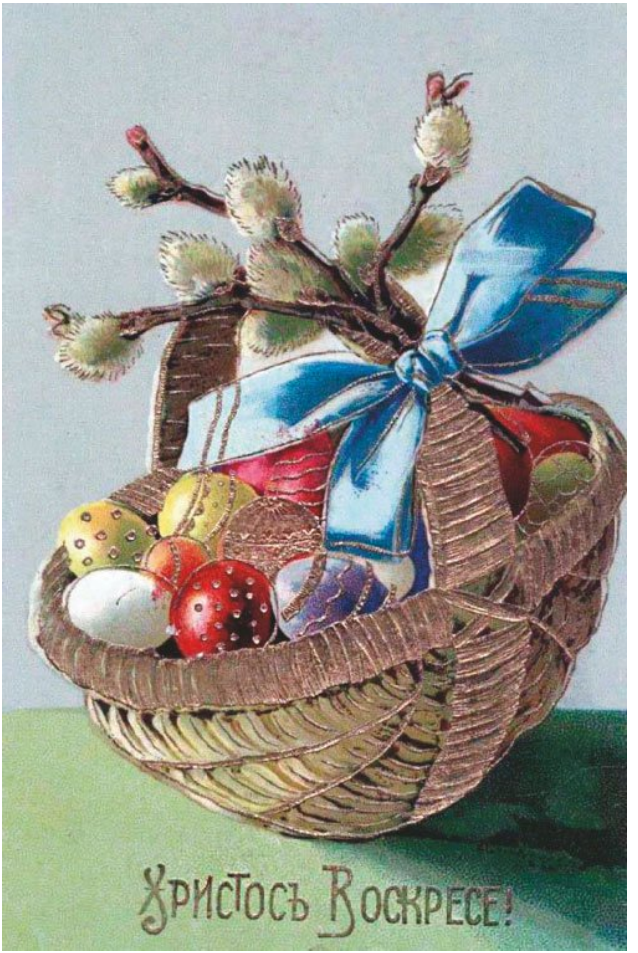
Припомните из своего прошлого или по чужим рассказам или просто вообразите себе любой

случай, любое положение, и я наверно приведу вам аналогичное обстоятельство из своей злосчастной жизни, при котором я неизменно летел вверх тормашками, падал и еле-еле вставал с шишкой на лбу.

Да вот вам живой пример. Завтра у нас Светлое воскресенье, и я по всем этим вашим кулечкам, сверточкам и картоночкам вижу, что вы несете домой праздничные подарочки: разные там яички со змеями, составные яички с колечками, барашками, цветочками. Вижу, как вы целый день бегали по магазинам в толпе, в давке, забыв даже об еде, и теперь, счастливые, усталые и голодные, зашли сюда, в кабачок, перекусить на скорую руку. Ну вот я вам и расскажу, как через одно пасхальное яичко я лишился наследства, родни и поддержки, и все это в самых отроческих годах. Был я тогда длинным и нескладным шестнадцатилетним балбесом, которого туряли из всех гимназий и из всех училищ, к большому огорчению нашей бедной и многочисленной семьи. Единственной нашей поддержкой был старик-дядя — человек холостой и богатый, черствый и самолюбивый, вспыльчивый и капризный. Несмотря на свои семьдесят лет, он был черен волосом, как навозный жук, и имел желтое, сжатое

в комок морщин лицо. Он был беззубый и всегда двигал нижней челюстью влево и вправо, точно задумчиво что-то пережевывал.

На Пасху мы неизменно подносили ему подарки: стишки, написанные каллиграфически на веленевой бумажке и перевязанные голубой ленточкой, вязаные салфеточки — изделия моих сестер, крашенные дома яйца и т. д. Дядя принимал нас и наши подарочки, давал нам целовать свою коричневую маленькую ручку, похожую на мощи, одарял нас маленькими золотыми монетами и отпускал до Рождества или до своих именин. И это повторялось из года в год, трижды в год, почти без изменения: на Рождество, на Пасху и на его именины. Но мне посчастливилось удивить нашего дядю совсем неожиданным подарком. В конце Великого поста я проходил по улице и в окне цветочного магазина увидал большое, с человеческую голову величиною, яйцо. На нем, на его белой, гладкой, блестящей поверхности зелеными буквами из проросшего кресс-салата было написано: «Я был лысым».


Христосъ Воскресе!

Это пленило меня. Но, как я ни был глуп и доверчив, я все-таки нашел надпись немного неподходящей к праздничному дню. Надо было войти в магазин прицениться и условиться.

Цена яйца была шестьдесят копеек. Стоило только написать водою на нем любые буквы и посыпать семенами кресс-салата, как в продолжение недели на нем зеленым цветом вырастали сладкие пасхальные слова.

— Я бы, — сказал я робко, — мне бы не хотелось… я был лысым…

— О, это пустяки… Вот вам яйцо, которое уже посеяно. Через неделю ростки взойдут, и оно будет собою представлять очаровательное простое зеленое яйцо. Нам все равно: с надписью или без.

Я согласился. И понес яйцо домой. В дверях немец сказал мне, что яйцо нужно держать непременно в темноте.

В воскресенье я с робостью впервые поглядел на мой пасхальный подарок, спрятанный мною в темном чулане. Это было очаровательное, бархатное зеленое яйцо. Я положил его в картонку от шляпы и понес.

Было все по порядку: стишки, вязанье, раскрашенные барашки, целованье руки и так далее. Наконец я раскрыл картонку и вытащил мое

яйцо. Вообразите себе, что на нем, на зеленом поле, четкими желто-золотыми буквами было написано: «Я был лысым!»

Бог знает, почему это получилось. Недосмотр артельщика, ошибка садовода или моя торопливость? Вернее всего, моя вечная неудача.

Дядя вдруг из светло-кирпичного сделался темно-кирпичным, потом пунцовым, потом пурпуровым, затем сизым. И вдруг, сдернув с себя черно-синий парик, бросил его на землю и закричал:

— Мерзавец, проклинаю тебя и лишаю наследства отныне и во веки веков, аминь! Вон!.. Идиотская насмешка! Интриганы! Вон!..

Но я стоял неподвижно и в дрожащих руках держал зеленое яйцо с яркой, солнечной надписью: «Я был лысым», а напротив меня качалась голова с черепом, голым и блестящим, как бильярдный шар.

Как меня вывели на улицу, я не помню.

1911



Московская Пасха

Московские бульвары зеленеют первыми липовыми листочками. От вкрадчивого запаха весенней земли щекотно в сердце. По синему небу плывут разметанные веселые облачки; когда смотришь на них, то кажется, что они кружатся, или это кружится пьяная от весны голова?

Гудит, дрожит, поет, заливается, переливается над Москвой неумолчный разноголосый звон всех ее голосистых колоколов.

Каждый московский мальчик, даже сильно захудалый, самый сопливый, самый обойденный судьбою, имеет в эти пасхальные дни полное, неоспоримое, освященное веками право залезать на любую колокольню и, жадно дождавшись очереди, звонить сколько ему будет угодно, пока не надоест, в любой из колоколов, хоть в самый огромадный, если только хватит сил раскачать его сорокапудовый язык и мужества выдержать его оглушающий, сотрясающий все тело медный густой вопль. Стаи голубей, диких и любительских, носятся в голубой, чистой вышине, сверкая одновременно крыльями при внезапных поворотах, и то темнея, то серебрясь и почти растаивая

на солнце.

Как истово нарядна, как старинно красива коренная, кондовая, прочная, древняя Москва. На мужчинах темно-синие поддевки и новые картузы, из-под которых гладким кругом лежат на шее ровно обстриженные, блестящие маслом волосы… Выпущенные из-под жилеток косоворотки радуют глаз синим, красным, белым и канареечным цветом или веселым узором в горошек. Как румяны лица, как свежи и светлы глаза у женщин и девушек, как неистово горят на них пышные разноцветные московские ситцы, как упоительно пестрят на их головах травками и розанами палевые кашемировые платки и как степенны на старухах прабабушкины шали, шоколадные, с желтыми и красными разводами в виде больших вопросительных знаков!

И все целуются, целуются, целуются… Сплошной чмок стоит над улицей: закрой глаза — и покажется, что стая чечеток спустилась на Москву. Непоколебим и великолепен обряд пасхального поцелуя. Вот двое осанистых, степенных бородачей издали приметили друг друга, и руки уже распространились, и лица раздались вширь от сияющих улыбок. Наотмашь опускаются картузы вниз, обнажая расчесанные на прямой пробор

густоволосые головы. Крепко соединяются руки. «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Головы склоняются направо — поцелуй в левые щеки, склоняются налево — в правые, и опять в левые. И все это не торопясь, важевато.

— Где заутреню стояли?

— У Спаса на Бору. А вы?

— Я у Покрова в Кудрине, у себя.

Воздушные шары покачиваются высоко над уличным густым движением на невидимых нитках разноцветными упругими легкими весенними гроздьями. Халва и мармелад, пастила, пряники, орехи на лотках. Мальчики на тротуарах у стен катают по желобкам яйца и кокаются ими. Кто кокнул до трещины — того и яйцо.

Пасхальный стол, заставленный бутылками и снедью. Запах гиацинтов и бархатных жонкилий. Солнцем залита столовая. Восторженно свиристят канарейки.

Юнкер Александровского училища в новеньком мундирчике, в блестящих лакированных сапогах, отражающихся четко в зеркальном паркете, стоит перед милой лукавой девушкой. На ней воздушное платье из белой кисеи на розовом чехле. Розовый поясок, роза в темных волосах.

— Христос воскресе, Ольга Александровна, —

говорит он, протягивая яичко, расписанное им самим акварелью с золотом.

— Воистину!

— Ольга Александровна, вы знаете, конечно, православный обычай…

— Нет, нет, я не христосуюсь ни с кем.

— Тогда вы плохая христианка. Ну пожалуйста. Ради великого дня!

Полная важная мамаша покачивается у окна под пальмой в плетеной качалке. У ног ее лежит большой рыжий леонбергер.

— Оля, не огорчай юнкера. Поцелуйся.

— Хорошо, но только один раз, больше не смейте.

Конечно, он осмелился.



О, каким пожаром горят нежные атласные прелестные щеки. Губы юноши обожжены надолго. Он смотрит: ее милые розовые губы полуоткрыты и смеются, но в глазах влажный и глубокий блеск.

— Ну вот и довольно с вас. Чего хотите? Пасхи? Кулича? Ветчины? Хереса?

А радостный, пестрый, несмолкаемый звон московских колоколов льется сквозь летние рамы окон…

1926



Николай Колосов

Не может быть!

Посвящается Е. А. С.

По убогой, запущенной церкви ходит священник. Кадит и поет: «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господа…» Поет и кадит, а рабов-то и нет: в церкви пусто…

В. Розанов

Уже с середины поста у отца Петра по обыкновению стало создаваться предпраздничное настроение. Самый пост становился отцу Петру все ближе и дороже. Он не только привыкал к строгому воздержанию, но находил в нем особенную прелесть и сладость. Пост усугублял радость ожидания. И часто отец Петр думал: «А некоторые не любят поста. Бог с ними, но я не понимаю: зачем они умаляют радость праздника? В пост как-то углубляешься в мысли о Христе, об его уничижении, об его терпении и страстях. В пост страдаешь вместе со Христом, а потом в воскресении вместе с ним воскресаешь».

И отец Петр простаивал долгие покаянные службы, довольствовался супом с грибами и чаем с медом, с улыбкой смотрел, как все ниже

и ниже падают снежные сугробы, как по утрам покрываются они глянцевитым ледяным слоем, который серебристыми брызгами горит на великолепном — веселом и вместе меланхолическом — солнышке.

«А вот здесь и не тает», — говорил про себя отец Петр, когда, проходя из церкви после исповеди, видел близ узкой извилистой тропинки доску или клок соломы, под которыми снег не таял и стоял маленьким, но задорным бугорком.

Отец Петр перебрасывал доску или солому на другое место и радовался, когда, проходя по узкой извилистой тропинке на другой день, уже не видел задорного бугорка.

— Быстро тает. Скоро Пасха.

И чем дальше шло время, тем напряженнее становилось у отца Петра чувство ожидания праздника. Он чувствовал, будто сердце у него ширится и растет в груди. С половины шестой недели начались уже и приготовления к празднику. В церкви очищались от пыли иконы, киоты, мылись стены и пол, наводился блеск на золотые вещи, на сосуды, приготовлялись лампадки и фонари для иллюминации, пересматривалась ризница, псаломщик в церковной школе устраивал спевки к празднику. Готовили концерт «Да

воскреснет Бог». Псаломщик назначал спевки по вечерам, около шести часов. Часов в деревне было немного, а те, какие были, показывали время поразному. Поэтому некоторые дисканты и альты приходили в школу около четырех часов и раньше. Кроме певчих, к школе собирались любители пения, и около школы всегда толпился народ. От этого казалось, что праздник совсем близко, что его уже вышли встречать. Школьный сторож Трофимыч чувствовал себя на спевках чем-то вроде героя и виновника торжества, с важностью генерала ходил по школе, зачем-то передвигал парты, делал сердитые замечания шаловливым дискантам и жарко-прежарко топил печку, ни под каким видом не позволяя зажигать ламп:

— Нынче керосин-то дорог.

Пели с восковыми свечами. И это пение в полутьме большой классной комнаты с темными силуэтами слушателей по углам и с красными, дрожащими бликами по стенам от горящих дров в печке придавало спевкам отпечаток чего-то необычного, с одной стороны — торжественного, важного, с другой — спешного, торопливого, экстренного.

Отец Петр любил заходить на собрания в школе после вечерен, и необычная обстановка спевок

еще более усиливала предпраздничность его настроения:

— Скоро Пасха.

Со Страстной недели начались приготовления и в самом доме отца Петра. Здесь тоже чистили, мыли, скоблили, рубили. Все в доме было в движении, все шумело, суетилось, воскрикивало, восклицало, скрипело, стучало, звенело. В доме отца Петра приготовления велись совсем не так, как в церкви или на спевках, без торжественности и без внутренней сосредоточенности. Здесь — наоборот — все было нервно и иногда вздорно и смешно. И тем не менее, когда отец Петр видел, как кухарка, растрепанная, грязная и сердитая, моя квашню и посуду, безпощадно плескала воду направо и налево и глухо ворчала что-то себе под нос по адресу матушки, — отец Петр и в этом ворчании кухарки слышал одно:

— Скоро Пасха.

Сегодня Страстная суббота. Последний день… Пасха завтра… Во время обедни за пением «Воскресни Боже» переменили облачение на престоле, на жертвеннике, на всех аналоях. Вместо темного надели все белое, сверкающее. Раскрыли ярко вычищенные подсвечники и паникадила с вставленными в них высокими белыми, с по-

золотой свечами. В церкви сразу стало как-то непривычно бело, светло и чисто. После обедни благочестивые женщины еще раз вымыли пол, украсили иконы и подсвечники розовыми и белыми цветами; староста со сторожем расставили по иконостасу и по аркам лампадки с маслом так, что они образовывали вензеля «Х. В.» и целые фразы: «Радуйтеся, людие! И паки реку: радуйтеся!»; «Несть зде, но воста» и т. д. В семь часов отец Петр положил начало чтению Деяний, потом пришел домой, немного закусил, выпил два стакана чаю и, чтоб подкрепиться силами к служению праздничной утрени, прилег отдохнуть, распорядившись — непременно разбудить его к половине одиннадцатого.

Отец Петр сильно устал от службы и от поста на Страстной неделе. Предыдущую ночь он совсем не спал. Утреню служили около часу ночи. Спать хотелось, но как-то странно было спать в необычайный, таинственный вечер пред пасхальной заутреней. Тем не менее отец Петр прилег. Усталость чувствовалась во всех членах. Все тело как будто каменело, но в груди было так много жизни и острого, горячего чувства праздничной радости, что отец Петр долго ворочался с боку на бок, как это бывает при нервной взвинченности во время

бессонницы. Но как бы то ни было, усталость превозмогла напор чувств, и отец Петр забылся.

И каково же было его смятение, его ужас и страх, когда он, проснувшись, увидел, что часы показывают… половину второго.

«Боже мой! — растерялся отец Петр, — полночь давно прошла… Что же это такое! Как случилось?.. Не разбудили… Не разбудили… Как это так? Как это… Но где же все?»

Отец Петр в замешательстве метался по комнате, хватался то за одно, то за другое, брал не то, что было нужно, путался, задевал за стулья, уронил лампу, разбил стекло у часов.

— Боже мой! Ничего не найдешь… Да где же все? Уехали в другое село? Боже! Что такое? Кто здесь? Кто здесь? — вскрикивал отец Петр.

Кое-как ему удалось набросить на себя рясу, и он, с взъерошенными волосами, горячий, потный, стремглав бросился на улицу. Но едва он вышел за калитку двора, как в онемении остановился.

— Что это?

На площади вокруг церкви было совершенно темно и пусто. Ни в одном окне не было видно ни огонька. Не было слышно ни звука. Это совсем не так, как в пасхальную ночь. Тогда церковь и

изнутри, и снаружи горит сотнями огней. Тогда гул голосов на площади несется далеко за реку и эхом отдается где-то там в горах. А это? Боже!..

Отец Петр не мог двинуться с места. Взгляд его упал на деревню. И тут все было как обычно. Ночь как ночь. Самая обыкновенная ночь. В крестьянских избах темно. Вокруг ничто не зашелохнет. Слышно, как работает на реке водяная мельница.

— Работают! — ужаснулся отец Петр. — В такой день работают!..

И он почти прокричал:

— Не понимаю. Ничего не понимаю.

На крик отца Петра отозвалась где-то на деревне собака. На чьем-то дворе звякнуло ведро, и послышался голос:

— Да тпру, стой!.. Тпру…

Ничего похожего на пасхальную ночь.

Отец Петр в недоумении бросился опять к себе в дом. Везде тишина. Но в столовой накрыт стол. Белоснежная скатерть блестит. На ней кулич, сыр, яйца, ветчина, все как нужно для Пасхи. На всем в доме чистота и праздничность.

— Нет… Пасха, Пасха… Но как же так? Что же церковь?..

Отец Петр опрометью направился к церкви.

Подошел к двери, взялся за скобку — заперта. Посмотрел на сторожку — темно.

— Это все сторож… Прохорыч, — решил почему-то отец Петр, — это он проспал. Он. Потому так это все и… Потому…

Отец Петр подбежал к сторожке и беспощадно застучал по подоконнику:

— Прохорыч! Прохорыч! Проспал! Заутреню проспал!.. Скорее!..

Ответа не было.

— Прохорыч! — еще громче кричал отец Петр и еще громче стучал кулаком по подоконнику.

Окно отворилось, но высунулась из него голова не Прохорыча, а кого-то другого, бритого и похожего на швейцара.

— Какой Прохорыч? Что такое? Пожар? Где пожар? — спрашивала голова. — А? что?

— Да проспали заутреню, — горячился отец Петр. — Звони скорее… Скорее!.. Понял, что ли? Сегодня Пасха… К заутрене скорее… Ну?

Голова несколько мгновений в недоумении помолчала, потом сощурила заспанные глаза, внимательно и подозрительно окинула взором фигуру отца Петра и наконец заговорила:

— Заутреня? Пасха?.. Гм… Чудно!.. Какая такая заутреня?

— О Господи Боже мой, — волновался отец Петр. — Он еще не понимает! Да ведь нынче же Пасха, Пасха… Сейчас заутреню нужно… Пасхальную заутреню…


5460/2

Голова опять промычала «гм», опять подозрительным взглядом окинула отца Петра и, изобразив гримасу удивления и досады на лице, промолвила:

— Я сейчас к вам выйду.

Через несколько минут пред отцом Петром стоял человек, одетый в какую-то форменную одежду и похожий не то на швейцара, не то на английского кучера.

— Простите, — начал он, — я вас совсем не могу понять. Прежде всего скажите, пожалуйста, кто вы?

— Как кто? — почти с плачем отвечал отец Петр. — Я здешний священник! Священник здешний! И сегодня Пасха. Нужно служить, но я проспал, и все проспали… Что же вы молчите? Господи! Я тоже ничего не понимаю.

— А я начинаю понимать, — с расстановкой произнес человек в форме, — вы, очевидно, слишком много занимались своими делами или еще что-нибудь такое и упустили из виду, что теперь не существует ни Пасхи, ни заутрени, ничего такого…

У отца Петра зашевелились волосы на голове. Он стоял и широко раскрытыми, неподвижными глазами смотрел на человека в форме.

— Вот, присядьте, прошу вас, — предложил сторож. — Здесь у меня скамейка. Вы очень слабы. Или — если угодно — я провожу вас до дому?

— Куда проводить? До какого до дому? — простонал отец Петр. — Я хочу служить. Пасха, Пасха сегодня. Сегодня великий праздник…

— Ах, да нет же, — раздражаясь уже, проговорил человек в форме. — Я же вам говорю, что теперь упразднены все праздники.

И вдруг словно молния прорезала мысль отца Петра. Он вспомнил, как недавно, совсем — кажется ему — недавно кто-то говорил, что у нас слишком много праздников, что храмы, попы и церковные школы — это только один вред для народа, что службы и пост — это только доходная статья для духовенства и т. д. и т. д. Вспомнил отец Петр и о том, как раз один мужик, когда отец Петр говорил ему о необходимости говения и исповеди и пользе бодрствования душою, дерзко и нетерпеливо сказал ему:

— А плевать бы я хотел на все это. Какая там еще душа? Брюхо — вот это я понимаю. Да вот разве еще кулак. А остальное? Да по мне, вы свои церкви хоть запечатайте совсем. И не почешусь.

Отец Петр понял все и тихо уже, робким и убитым тоном спросил:

— Значит, запечатана?

— Да. Запечатана… То есть не то чтобы совсем запечатана… Иногда отпираем. Для посетителей. Интересуются некоторые, как это там было раньше.

Отец Петр улыбнулся неестественной, болезненной улыбкой.

— Как музей? — спросил он, глядя исподлобья.

— Вот-вот. Как музей. Именно…

— Пустите меня! — тихо и просительно проговорил отец Петр, и в тоне его голоса слышалась невероятная скорбь, гнетущая тоска и вместе огненное желание быть в церкви, видеть святой алтарь, а также и боязнь, что человек в форме не пустит его в церковь. Ведь теперь все зависит уже от него.

Человек в форме с состраданием посмотрел на отца Петра и проговорил:

— У нас вход бывает открыт только два раза в неделю от двенадцати до трех. Вот пожалуйте во вторник. А теперь уже и поздно.

— Но ведь нынче же Пасха, Пасха! Как же во вторник! — прокричал отец Петр. — А как вы пускаете? За плату?

— Пятнадцать копеек с персоны.

— Послушайте! — схватил отец Петр сторожа за

руку. — Я вам заплачу пятнадцать рублей. Мало? Я вам отдам все, что у меня есть. Но пустите меня сейчас. Сейчас.

Сторож постоял с минуту в нерешительности.

— Ну уж что с вами делать! — решил он наконец.

Когда сторож, запасшись фонарем, отпер знакомый отцу Петру замóк знакомой ему тяжелой, обитой железом и скрипучей двери, им овладела нервная дрожь.

— Господи, спаси и помилуй! Господи!

Сторож смотрел на отца Петра с удивлением.

Отперли и вторую дверь, и отец Петр очутился в церкви.

Чем-то непривычным и жутким пахнуло на отца Петра. По-видимому, все в церкви было как и раньше. Осталось все прежнее. Да. Прежнее, прежнее. Вот прежние иконы. Те самые, пред которыми отец Петр отслужил столько литургий, отпел столько молебнов и акафистов, пред которыми ставил свечи и кадил ладаном. И сколько глаз устремлялось, бывало, к этим иконам, сколько пред ними было пролито слез и горестных, и радостных, и благодарных!.. Те самые иконы… Тогдашние… И всё тогдашнее… И плащаница здесь, у стены. И панихидный столик… И этот ореховый

киот с иконой Пантелеймона. Да всё, всё… Но как все это посиротело, как одиноко все и уныло. Подсвечники покосились и — да, да — покрылись ржавчиной. Вот видно даже при фонаре. Резьба искрошилась и то там, то здесь валяется на полу. Под ногами даже трещит. Отец Петр поднял веночек с потускневшей позолотой. Но куда его? Он был там, наверху киота. Отец Петр бережно положил веночек на окно. Руку его сейчас же опутала густая, липкая паутина. Батюшка пошел дальше. Под ногами хрустела резьба и трещали стекла. Должно быть, были разбиты окна. Отец Петр взглянул вверх. По арке были расставлены стаканчики. Можно было разобрать вензеля.

— Боже мой! — обрадовался отец Петр. — Как тогда!

Но многие стаканчики выпали и с застывшим маслом валялись на полу.

«Какое запустение! — подумал отец Петр. — Хоть бы убрали…»

Ходя по церкви из угла в угол, отец Петр с нежностью, с чисто материнской ласковостью дотрагивался то до одной вещи, то до другой, прижимал к себе, подолгу держал в руках, целовал и крестился.

Пришли на клирос. Все было по-прежнему. Вот

столик, за которым читали шестопсалмие, часы и проч. Вот место, где всегда стоял бас Никанорыч. Шкапик с книгами. И книги все те же… Апостол, часослов…

— Боже мой! — пугался отец Петр. — Ужели это я? Я, отец Петр, здешний священник? И ужели это та церковь, где я служил? Боже мой!..

Отец Петр прошел на амвон. Все по-старому. Обратился к западным дверям и долго стоял неподвижно.

— Это Пасха? — думал он. — А бывало? А? Сколько радостных, оживленных лиц видно было с этого амвона! Какой чувствовался религиозный подъем! Праздничные одежды, бывало… Свечи в руках…

— Мир все-ем! — протянул отец Петр, и голос у него оборвался. Лицо перекосила судорога.

«Можно ли больше надругаться над верующей душой? — подумал он. — Поистине зол и мстителен сатана. Где пасхальные цветы? Где огни пасхальные? Где радость? Где восторг? Где ликующие гимны? О-о!..»

Отец Петр отыскал в шкапе цветную триодь и открыл ее на первых страницах. Сторож поставил фонарь в сторону, а сам присел на сундук в углу и задремал. Отец Петр попробовал читать по

триоди, но было темно.

— Нет ли где здесь свечи? На клиросе всегда были свечи…

Действительно, тут же на окне оказался желтый огарок, твердый, как гвоздь.

Отец Петр подошел к фонарю и приложил огарок к огню.

Огарок затрещал, и отец Петр радостно улыбнулся. Он всегда любил этот треск свечи ранними утрами, когда он еще до рассвета приходил в церковь и сам зажигал первую свечу. Он и вообще любил свечу, именно желтую, восковую, такую пахучую. Любил ее запах, ее скромный и пугливый огонек, любил он молиться со свечой. Она как будто зажигала что-то в душе, как будто говорила ей что-то. Она сама была как будто что-то живое и нежное. Отец Петр долгим, любовным взглядом посмотрел на свечу и поднес ее к триоди.

Им опять овладела нервная дрожь.

Какие слова! Как все это близко! Как дорого!

«Об часе утреннем параекклисиарх… вшед во храм, вжигает свещи вся, и кандила: устрояет же сосуды два со углем горящим, и влагает в них фимиама много благовоннаго… яко да исполнится церковь вся благовония. Также настоятель… со иереи и диаконы облачатся в весь светлейший

сан».

И дальше:

«Сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся…»

Знакомые, любимые, священные страницы! Помнит отец Петр, как, еще будучи учеником духовного училища, любил он Великим постом заглядывать в эти заветные страницы и как тогда еще святые и торжественные слова наполняли его благоговейным трепетом.

Отец Петр медленным шепотом читал страницу за страницей:

«Очистим чувствия и узрим… Христа блистающая… Да празднует же мир — Христос бо воста… Веселие вечное».

— Вечное! — остановился отец Петр и продолжал читать дальше.

«…Из гроба красное правды нам воссия Солнце… О другини! Приидите, вонями помажем тело живоносное… Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа вовеки!»

— Вовеки… Вовеки… — повторял отец Петр.

В глазах у него зарябило. И дышащие радостью слова священных песен, и восковые капли на

листах триоди, и какой-то особенный, ни с чем не сравнимый запах от церковных кожаных книг — все это казалось отцу Петру до того сродным, во всем этом было так много души отца Петра, а также души его отца, деда, прадеда, души дьячка Ивана Кузьмича и всех его предков, души церковного старосты, церковного сторожа, здесь было так много подлинной, живой души каждого русского мужика, всего русского народа, что взять все это и куда-то запереть, взять цветную триодь и не дать возможности держать ее в пасхальную заутреню пред радостными, возбужденными лицами певчих, не капать на ее листы воском, не петь по ним веселыми играющими напевами сладостных песней, — да это… это невозможно? Это просто невероятно! Это значит взять душу у отца Петра, у Ивана Кузьмича, у всех мужиков, у всего народа и совершить над этою душою, живою и не думающею умирать… совершить какое-то тяжкое и гнусное преступление… Нет! Это невозможно. И не может быть сомнения, что вот нынче же, сейчас, в эту же ночь запоют по старым закапанным страницам триоди, оживят эти страницы, а также жизнью наполнят и все вокруг… Это несомненно.

Но отец Петр оглянулся назад, увидел грязь и

пустоту церкви, услышал храп сторожа в темном углу, и стремительный поток его радужных мыслей разом оборвался. Он посмотрел на книгу, горько усмехнулся, оглянулся на сторожа и робко, стыдливо как-то спросил:

— А послушайте… Господин!.. Послушайте… Можно здесь немного попеть?.. я потихоньку бы… А?

Совсем было заснувший сторож приподнялся на локте, посмотрел вокруг, увидел, что ничего особенного не произошло, и пробормотал:

— Ладно… Пожалуйста…

Отец Петр торопливым шагом на цыпочках подошел к ризничному шкапу и отворил его. Двери на ржавых петлях заскрипели незнакомым, режущим звуком. Отец Петр брал то одну ризу, то другую…

— Вот, вот она… Пасхальная, — произнес он и, благословив белую, отсыревшую ризу, облачился.

Торопливо и осторожно, куда-то спеша и чего-то опасаясь, прошел он в алтарь. Стал пред престолом и неуверенным, дрожащим от волнения голосом возгласил:

— Слава святой… и неразделимой Троице…

И сам же запел:

— Ами-инь.


Христосъ воскресе!

И затем продолжал:

— Христос воскресе из ме-ертвых, смертию смерть попра-ав…

Голос отца Петра звучал в пустой, заброшенной церкви глухо и странно. И в звуках этого одинокого голоса пустота и заброшенность церкви сказывались как-то резче, больнее и несноснее.

— И сущим во гробе-ех…

Но здесь голос отца Петра опять оборвался. Он бессильно опустился пред престолом на колена, положил на него свою голову и громко и безудержно зарыдал.

— Господи, Господи! — говорил он между рыданиями. — Великий Боже! За что такое наказание? За что мука такая? Ужас, ужас! Господи! Лучше возьми меня от этого кошмара. Возьми к себе. Господи! Возьми к себе. Или пошли, Господи, людям веру. Пошли любовь. Утверди, Господи, веру их. Растопи лед их сердец. Воскресни, Господи, в душах наших. Соедини нас во имя твое. Господи! Помоги неверию нашему. Или… возьми… возьми меня к себе… Не дай мне видеть этого страшного позора… Возьми…

Отец Петр рыдал все громче. Все его тело судорожно вздрагивало. Он чувствовал, что облачение престола стало мокро от его слез. Но слезам

как будто не было конца.

— Господи! Возьми, возьми меня к себе…

— Батюшка, а батюшка! — раздалось вдруг над ухом отца Петра. — Да батюшка. Господи, заспался что-то… Батюшка! К утрени пора! В Новоселках благовестят уже. И у нас все готово. Батюшка!

Отец Петр вскочил со своей постели встрепанный, раскрасневшийся от волнения, потный.

Несколько секунд он, как пораженный громом, стоял неподвижно напротив церковного сторожа Прохорыча и не говорил ни слова.

Потом он порывисто перекрестился раз и другой. Оглянулся кругом, внимательно осмотрел Прохорыча и вдруг засмеялся веселым, радостным смехом.

— Так это, значит, сон! — вскричал он. — Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!

Он обернулся к иконам и опять перекрестился.

— Али сон худой приснился, батюшка? — спросил недоумевающий Прохорыч.

— И не говори! такой худой сон… — отвечал отец Петр и побежал умываться.

— Значит, сон, сон, — повторял он одно и то же. — Слава Богу. Но какой же это был ужас! Какой ужас! Господи, благодарю тебя! Это был сон… Да, конечно. Как же могло быть иначе? Разве это

возможно в действительности? Безусловно, нет. Это просто нелепо. Это совершенно невозможно. Этого никогда не может быть. Да. Да. Не может быть.

Отец Петр выглянул на площадь. Церковь была вся в огне и поднималась к небу, как одна колоссальная свеча. Вокруг церкви копошился и гудел народ. Собирались жечь смоляные бочки.

— Конечно, конечно, — торопливо говорил отец Петр. — Ничего того не может быть. Не может быть. Такой праздник… Не может быть…

Когда отец Петр, одевшись, вышел на улицу, на него тепло и ласково пахнул весенний ветер. Слышался запах прелой земли и распускающихся почек. В мягком и влажном воздухе плавными, но упругими волнами колебались звуки торжественного, чистого благовеста в соседних селах.

— Как хорошо! — вырвалось у отца Петра. — Что может сравниться с этой ночью?

Войдя в церковь, отец Петр увидел горящие вензеля, алтарь, сияющий огнями и цветами. Изображение воскресения все было увито цветами, белыми, розовыми, и казалось, что это Христос идет по цветам в саду Иосифа Аримафейского, чтобы сказать Магдалине и прочим:

— Радуйтеся.

Отец Петр начал службу с особым подъемом чувства, с каким-то необычным трепетанием в груди. Он пред своими глазами видел все то, чего так беспомощно искал в кошмарном сне. Радость его была беспредельна и слышалась в каждом звуке его голоса, виделась в каждом его движении. Ответным аккордом эта радость отца Петра поднималась со глуби сердец богомольцев.

Когда после пения пред закрытыми дверями отец Петр вошел в искрящуюся огнями, наряженную цветами, блистающую церковь и до пафоса напряженным голосом возгласил: «Христос воскресе!» — религиозное возбуждение народной массы достигло апогея.

— Воистину, воистину воскресе! — гудела и ревела она. — Воистину!..

И в этом «воистину» было что-то стихийное, здесь выражалось что-то непобедимое, как всякая стихия, что-то вечное, неподлежащее умиранию. В этом стихийном «воистину» выливалось все лучшее, что есть в человеке, все подлинно человеческое, и свыше человеческого. Здесь духовное, Божественное начало в человеке как бы облекалось плотью и костьми, принимало конкретные формы и становилось очевидным, осязаемым, реальным…

— Воистину!

— Христос воскресе! — еще и еще возглашал отец Петр под аккомпанемент ликующего пения.

В ответ ему еще и еще несся стихийный гул, заглушавший и голос отца Петра, и пение всего хора:

— Воистину, воистину!..

А отец Петр в этом гуле слышал свое собственное:

— Не может быть… Не может быть…

И он служил с такой силой чувства, с такой любовью ко Христу воскресшему и с таким огнем священного воодушевления, как, казалось ему, никогда раньше.

— Как хорошо-то, батюшка, как хорошо, — прошептал сторож Прохорыч, подавая отцу Петру в конце заутрени тресвечник, — как в раю… И солнце играет…

В глазах старика стояли слезы.

И отец Петр не удержался и заплакал. Но не теми слезами тоски и отчаяния, которыми он так недавно — казалось — плакал пред этим же престолом, а слезами детской радости и чистого восторга.

1909



Тэффи

Светлый праздник

Как факел, передавали друг другу благую весть, и, как от факела, зажигал от нея каждый огонь свой.

Из сказаний о жизни первых христиан

Самосов стоял мрачно, смотрел на кадящего дьякона и мысленно говорил ему: «Махай, махай! Думаешь, до архиерея домахаешься? Держи карман!»

Он медленно, но верно выпирал локтем стоявшего около него мальчишку, чтобы пролезть поближе к молящемуся здесь же начальнику. Хотелось быть на виду — для того и пришел. Начальник был с супругой и с тещей.

«Жену привел! — крестился Самосов. — Харя ты, харя! У самой сорок любовников, а в церковь пошла — брови по своему лицу намалевала. Хотя бы перед Богом постеснялась. И он дурак — из-за приданого женился. Она, конечно, пошла! Не помирать же с голоду».

— Христос воскрес! — возгласил священник.

— Воистину воскрес! — прочувствованно отве-

чал Самосов.

«И тещу привели! Как не привести! Ее оставить — так она либо посуду перебьет, либо несгораемый шкаф взломает. Ей бы только дочерьми торговать. Народила уродов и торгует. И шляпы приличной не могли старухе купить! Нарочно старую галошу на голову ей напялили. Чтоб все издевались. Нечего сказать! Уважают старуху. Как-никак, а все-таки она вас родила! Не отвертитесь! Махай, махай кадилом-то! Архимандрит! Митрополию получишь».

Служба кончилась. Самосов с почтительным достоинством приблизился к начальнику.

— Воистину, хе-хе!

Облобызались.

Ручку у начальницы. Ручку у тещи.

— Хе… хе! Так отрадно видеть у этой толпы простолюдинов веру в неугасимость заветов… которые… Жена? Нет, она, знаете, осталась домохозяйничать… Библейская Марфа.

Выходя из церкви, он еще чувствовал некоторое время умиленность от общения с начальством и запах цветочного одеколона на своих усах. Но мало-помалу опомнился.

«А ведь разговляться не позвал! Обрадовались… Тычут руки — целуй! Небось охотников-то немно-

го найдут на свои дырявые лапы».

Пришел домой.

За столом жена и дочь. На столе ветчина и пасха. У жены лицо такое, как будто ее все время ругают: сконфуженное и обиженное.

У дочери большой нос заломился немножко на правый бок и оттянул за собой левый глаз, который скосился и смотрит подозрительно.

Самосов минутку подумал.

«Эге! Воображают, что я им подарков принес!»

Подошел к столу и треснул кулаком.

— Какой черт без меня разговляться позволил?

— Да что ты? — изумилась жена. — Мы думали, что ты у начальника. Сам же говорил…

— В собственном доме покою не дадут! — чуть не заплакал Самосов.

Ему очень хотелось ветчины, но во время скандала считал неприличным закусывать.

— Подать мне чай в мою комнату!! — Хлопнул дверью и ушел.

— Другой бы, из церкви придя, сказал: «Бог милости прислал», — сказала дочка, смотря одним глазом на мать, другим на тарелку, — а у нас все не как у людей!

— Ты это про кого так говоришь? — с деланым любопытством спросила мать. — Про отца? Так

как ты смеешь? Отец целые дни, как лошадь, не разгибая спины, пишет, пришел домой разговеться, а она даже похристосоваться не подумала! Все Андрей Петрович на уме? Ужасно ты ему нужна! И чем подумала прельстить! Непочтительностью к родителям, что ли! Девушка, которая себя уважает, заботится, как бы ей облегчить родителей, как бы самой деньги заработать. Юлия Пастрана, или как ее там… с двух лет сама родителей содержала и родственникам помогала.

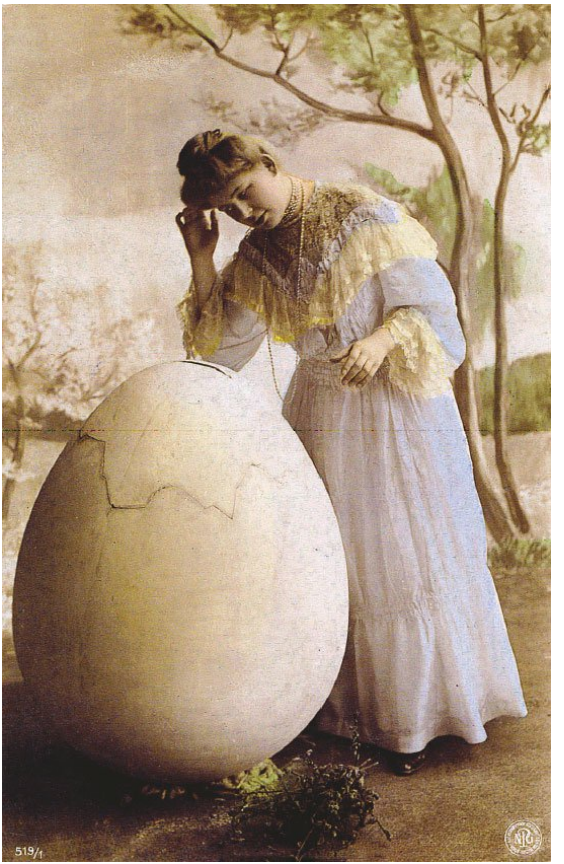
— А чем я виновата, что вы мне блестящего воспитания не дали? С блестящим-то воспитанием очень легко и переписку найти, и все.

Мать встала с достоинством.

— Пришлешь мне чай в мою комнату! Спасибо! Отравила праздник.

Ушла.

Весело озираясь, с радостно пылающим лицом, вошла в столовую кухарка с красным яичком в руках.


519/1

— С Христос воскресом, барышня! Дай вам Бог всего самолучшего. Женишка бы хорошего да молодого, капитального.

— Убирайся к черту! Нахалка! Лезет прямо в лицо!

— Господи помилуй! — попятилась кухарка. — И с чего это… Ну как с человеком не похристосоваться? Личность у меня действительно красная. Слова нет. Да ведь целый день варила да пекла, от одной уморительности закраснелась. Плита весь день топится, такое воспаление — дыхнуть нечем. Погода жаркая, с утра дождь мурашил. О прошлом годе куда прохладнее было! К утрене шли — снег поросился.

— Да отвяжетесь вы от меня! — взвизгнула барышня. — Я скажу маме, чтоб вас отказали.

Она быстро повернулась и ушла той самой походкой, какой всегда ходят хозяйки, поругавшись с прислугой: маленькими шагами, ступая быстро, но двигаясь медленно, виляя боками и выпятя грудь.

— Уж-жасно я боюсь! — запела вслед кухарка. — Ух, как напугали… Прежде жалованье доплатите, а потом и форсите! Я, может, с Рождества месяца пятака от вас не нюхивала. Уберу со стола и спать завалюсь, и никаких чаев подавать не стану.

Ищите себе каторжника. Он вам будет ночью чаи подавать.

Она сняла со стола грязную тарелку, положила на нее по системе всех старых баб, живущих одной прислугой, ложку, на ложку другую тарелку, на тарелку стакан, на стакан блюдо с ветчиной и уже хотела на ветчину ставить поднос с чашками, как все рухнуло на пол.

— Все пропадом!

В руке осталась одна основная тарелка.

Кухарка подумала-подумала и бросила ее в общую кучу.

Почесала под платком за ухом и вдруг, точно что вспомнив, пошла на кухню.

Там сидела на табуретке поджарая кошка и лакала с блюдечка молоко с водой. Перед кошкой на корточках пристроилась девчонка, «сирота, чтоб посуду мыть», смотрела и приговаривала:

— Лакчи, лакчи, матушка! Разговейся, напостимшись! С хорошей пищи, к часу молвить, поправишься!

Кухарка ухватила девочку за ухо.

— Эт-то кто в столовой посуду переколотил? А? Для того тебя держат, чтоб посуду колотить? Ах ты, личность твоя худорожая! А? Что выдумала! Пошла в столовую прибирать. Вот тебе завтра

покажут, толоконный твой рот!

Девчонка испуганно захныкала, высморкалась в передник; потерла ухо, высморкалась в подол, всхлипнула, высморкалась в уголок головного платка и вдруг, подбежав к кошке, спихнула ее на пол и лягнула ногой:

— А провались ты, пес дармоедный! Житья от вас нету, от нехристев. Только бы молоки жрать! Чтоб те прежде смерти сдохнуть!

Кошка, поощряемая ногой, выскочила на лестницу, едва успела хвост унести — чуть его не отхватили дверью.

Забилась за помойное ведро, долго сидела, не шевелясь, понимая, что могущественный враг, может быть, ищет ее.

Потом стала изливать свое горе и недоумение помойному ведру. Ведро безучастно молчало.

— Уау! Уау!

Это все, что она знала.

— Уау!

Много ли тут поймешь?

⟨***1911?***⟩

Пасхальные советы молодым хозяйкам

Прежде всего мы должны помнить, что из пасхальных приготовлений важнее всего сама пасха, так как праздник получил свое название именно от нее, а не от кулича и не от ветчины, как предполагают многие невежды.

Поэтому на пасху мы должны покупать пять фунтов творогу у чухонки и хорошенько сдобрить его сахаром.

Если пасха приготовляется только для своего семейства, то этим можно и ограничиться. Если же предполагается разговение с гостями, то нужно еще наболтать в творог яиц и сметаны. Гость также требует и ванили, чего тоже забывать не следует.

Чтоб показать гостю, что пасха хорошо удобрена, в нее втыкают цветок. Гость, если он человек не испорченный и доверчивый, должен думать, что цветок сам вырос, — и умилиться.

С боков пасхи хорошо насовать изюму, как будто и внутри тоже изюм. Иной гость пасхи даже и не попробует, а только поглядит, а впечатление

получит сильное.

Если же кухарка второпях налепит вам в пасху вместо изюма тараканов, то сами вы их не ешьте (гадость, да и вредно), а перед гостем не смущайтесь, потому что если он человек воспитанный, то и виду не должен показать, что признал в изюмине таракана. Если же он невоспитанный нахал, то велика, подумаешь, для вас корысть водить с ним знакомство. Таких людей обегать следует и гнушаться.

Оборудовав пасху, следует заняться куличом.

Тут я должна сделать маленькое разоблачение. Пусть недовольные бранят меня как хотят, а по-моему, разоблачение это сделать давно пора. Слишком пора.

Итак, судите меня как хотите, но кулич не что иное, как самая обыкновенная сдобная булка, в которую натыкали кардамону, а сверху воткнули бумажную розу.

Кто может возразить мне?

Больше о куличе я ничего говорить не хочу, потому что это меня раздражает.

Займемся лучше ветчиной.

Какой бы скверный окорок у вас ни был, хоть собачья нога, но, раз вы намерены им разговляться, а в особенности разговлять своих гостей,

вы обязаны украсить его стриженой бумагой. Какую взять бумагу и как ее настричь, это уж вам должна подсказать ваша совесть.

Нарезать окорок должны под вашим личным наблюдением, ибо у всех кухарок для числа нарезываемых кусков существует одна формула: N = числу потребителей минус 1.

Таким образом, один гость всегда останется без ветчины, и все знакомые на другой же день услышат мрачную легенду о вашей жадности.

Теперь перейдем к невиннейшему и трогательнейшему украшению пасхального стола — к барашку из масла.

Это изящное произведение искусства делается очень просто: вы велите кухарке накрутить между ладонями продолговатый катыш из масла. Это туловище барашка. Сверху нужно пришлепнуть маленький круглый катыш с двумя изюминами — это голова. Затем пусть кухарка поскребет всю эту штуку ногтями вкруг, чтобы баран вышел кудрявый. К голове прикрепите веточку петрушки или укропу, будто баран утоляет свой аппетит, а если вас затошнит, то уйдите прочь из кухни, чтоб кухарка не видела вашего малодушия.

Гости очень любят такого барашка. Умиляются над ним, некоторые отчаянные головы даже едят

его, а под конец разговенья часто тпрукают ему губами, чтобы польстить хозяевам, и говорят заплетающимся языком: «Какой искусный у вас этот баранчик! Доведись такого встретить на улице, подумал бы, что живой. Ей-богу! Поклонился бы...»

Кроме всего вышеуказанного, на пасхальный стол ставят еще либо индюшку, либо курицу, в зависимости от ваших отношений с соседним зеленщиком. Какая бы птица ни была, вы обязуетесь на обе ее лапы, если только у вас есть эстетические запросы, надеть панталоны из стриженой бумаги. Это сразу поднимет птицу в глазах ваших гостей.

Класть птицу на блюдо нужно филеем кверху, чтобы гость, окинув ее даже самым беглым взглядом, сразу понял, с кем имеет дело.

Под одно крыло нужно ей подсунуть ее собственную печенку, под другое почку. Курица, снаряженная таким образом, имеет вид, будто собралась в дальнее путешествие и захватила под руку все необходимое. Забыла только голову.

Затем нужно декорировать стол бутылками.



Прежде всего, поставьте два графина с водой. Потом бутылку с уксусом и сифон. Все это занимает много места и все-таки бутылки, а не какой-либо иной предмет, которому на столе быть не надлежит.

Затем поставьте «тип мадеры», который сохраняет все типические черты этого вина, кроме цены, и потому предпочтительнее заграничного.

Поставьте еще «тип хереса», «тип портвейна», «тип токайского», и у вас на столе будет нечто вроде альбома типов, что должно же импонировать гостям.

Когда наливаете вино, каждый раз приговаривайте: «Вот могу рекомендовать!»

Чем вы рискуете?

Когда гости, по вашему мнению, достаточно разговелись и вам захочется спать, не следует говорить избитой фразы:

— А не пора ли, господа, и по домам!

Это, в сущности, довольно невежливо. Следует поступать томно и по-аристократически.

Прикройте рот рукой и скажите:

— У-аух!

Будто зеваете. А потом посмотрите на часы и будто про себя:

— Ого! Однако!

Тут они, наверное, поймут и встанут. А если не поймут, то можно повторить этот прием несколько раз все громче и внушительнее.

Если какой-нибудь гость до того доразговляется, что уж ему ничего не втолкуешь, то нужно деликатно потрясти его за плечо и вдумчиво сказать:

— Пшел вон!

Это действует.

Потом соберите лучшие украшения вашего пасхального стола, как то: бумажные цветы, миндаль с кулича, изюм с пасхи и укроп с барана — и бережно спрячьте эти продукты до будущего года.

Ибо бережливость есть родственница благосостоятельности.

1911



Саша Черный

Сырная пасха
(Рассказ эмигранта)

До войны жили мы с женой на Крестовском. Тот же Петербург, но знакомые, перебравшись к нам весной через горбатый мост по конке откуда-нибудь с Гороховой, все, бывало, удивлялись. Черемуха у нас в саду цвела — прямо не дерево, а Монна Ванна. Райская яблоня бледным румянцем разгоралась… Речка своя была против дачи градоначальника, Крестовка. Пристань, лодчонка. Наберешь знакомых и повезешь их лимонную водку пить под Елагин мост. Вверху копыта гудят, а внизу мы сидим, покачиваемся и закусываем. Соловьи в кустах аккомпанируют. Где уж мне — только Фету впору описать…

Помню, бывало, Пасха поздняя и теплая выпадет, предпасхальные дни один другого краше пойдут. А в доме — флигелек у нас белый в саду стоял — битва русских с кабардинцами! Чухонка Дарья с дворником ковры волокут, друг на друга огрызаются, стулья все вверх ножками на столах, портрет Достоевского на кровати, халат — сам Шерлок Холмс не сыщет.

Придешь из банка, живому человеку посмотреть на живое любопытно: жена с Дарьей замазку с двойных рам сдирают, кислоту и вату с гарусом прочь уносят, суконка по стеклам, как кенарейка, заливается. Под ватой песок набрякший. Поколупаешь, потрогаешь пальцем — надо же хоть раз в году развлечься. У ног кот, Брандмайором прозывался, выгибается. Тоже ему удовольствие: на свидания теперь не через кухню будет бегать, а прямо из окна в сад. В старой оранжерее у него по вечерам целый гарем собирался…

Жена, конечно, меня за дверь, сердится, словно я всю ее стратегию нарушил:

— Брось, Васюк! Что ты как семилетний… Только мешаешь. Возьми «Речь», поди в сад почитай…

И уйдешь. Хоть эту «Речь» я уж в банке два раза насквозь прочитал, читаю в третий. А то подложишь ее под себя на сырую скамью и на скворешницу смотришь: «Прилетели, милые!» Брандмайор о плечо трется, тоже на скворцов любуется. Я, так сказать, бескорыстно, а он гастрономическую лирику разводит, урчит.

* * *

О самом главном толком и вспомнить не могу. Потому к этому делу меня и на пушечный выстрел не подпускали…

В кухонной лаборатории жена с Дарьей засядут. Толкут, цедят, месят, лучше и носу не показывай. Иной раз изловчишься, изюму немного стянешь, миндаля. Пожевать ведь сладкого хочется.

Жена сейчас на дыбы:

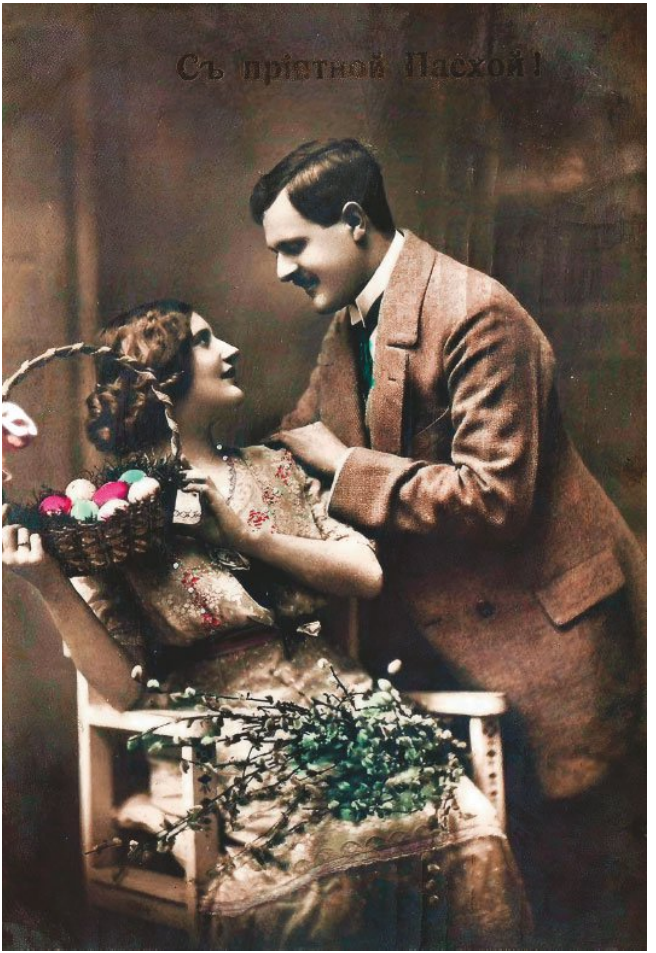
— Ты что, чучело, жуешь? Покажи, покажи карман! Да уходи ты отсюда, Бога ради. Нечего за кулисы зря соваться. Потерпеть не может, мальчик какой… Возьми свою «Речь» и ступай в сад.

Добрый ведь человек, росту маленького, уютного, глаза — васильки, а как она меня этой «Речью» допекала…

И уж действительно! Вернешься домой с компанией после пасхальной заутрени, посмотришь на стол — голландский пейзаж. Куличи не какие-нибудь кособокие, с головой набекрень, а крепкие, ровные, белой глазурью отливают, пестрым сахарным бисером посыпаны. Барашек с флажками кротко копытце вперед вынес… Анемоны, гиацинты вокруг бутылок цветут — не нарадуешься. И пирамидками — сырные пасхи, заварные, цу-

катные, — неизбывная гордость моей жены… Не еда, а романс Чайковского, переложенный на сахарно-творожную музыку нежными и милыми женскими руками.

Не чревоугодник я, что зря на себя клепать, но скажу по совести: что краше весеннего пасхального стола? Завтрак, обед, ужин — ежедневная, так сказать, повинность. Хлеб наш насущный и больше ничего. Перлового супа хлебнешь, отодвинешь, в зразах поковыряешь. Ну кисель еще туда-сюда, люблю. А пасхальное пиршество — можно ли сравнить? Краски, благоухание, архитектура… В вымытом окне облака, словно взбитые сливки, проплывают, банка точно и не бывало… Люди все такие кроткие, который скотина — и тот себя сдерживает, улыбка с утра до вечера во все лицо, и стол весь день накрыт… Полюбуешься, походишь, побурчишь, яичко, которое неровно окрашено, облупишь, рюмку шустовского «Спотыкача» опростаешь и медленно сырной пасхой закусишь.


Съ пріятной Пасхой!

* * *

В эмиграции какая уж жизнь. Ни двойных рам, ни белого флигеля, ни речки Крестовки…

Подходила Пасха. Надо же чем-нибудь эмигрантские будни подцветить, подобие праздника наладить. Работаем мы с женой, как битюги. Франков сто у нас в сгораемой карельской шкатулке накопилось, думаю, хватит.

Говорю жене:

— Как ты, Леночка, полагаешь? Шел я сегодня мимо русской лавки «Малиновый звон», видел в окне плакат — «Принимаются заказы на сырные пасхи, куличи и прочее…» Ты ж сырную пасху обожаешь, не заказать ли?

Как вскинулась моя Елена:

— Ты что ж, Васюк, совсем опустился? Совесть потерял?.. Чтоб я в колониальном вертепе сырную пасху покупала?! Да они вместо творогу известку кладут, на кошачьем молоке замешивают… С ума сошел! Нет, милый, у меня уже все предусмотрено.

Женщина — ничего не поделаешь. Уж если на ее сокровенную романтику грубым сапогом наступишь, душу словами проточит, а не сдастся. Посмотрела на меня глазами раненого оленя и

укоризненно отвернулась.

Стыдно мне стало:

— Хорошо, Леночка. Что у тебя там предусмотрено?

— Видишь ли, я по своим белошвейным заказам бегаю, устаю, годы не те, да и работы прерывать не могу. Ну а у тебя занятие периодическое… — (Я, видите ли, на аукционы в зал Друо бегаю, бронзу Людовика Девятнадцатого для перепродажи покупаю.)

— Вот, — говорит, — тебе список. Закупи, что надо. Я тебе полный рецепт дам. Время такое: женщины должны все мужское уметь, мужчины — все женское.

Пошел покупать. Обороты французские все на бумажке выписал.

И сколько для этой сырной пасхи требуется, целая энциклопедия! Сухой творог, сливочное масло лучшее, яйца «из-под кур», густые сливки лучшие, цукаты, миндаль сладкий, ром лучший, ваниль лучшая, сахар в пудре… Кажется, все. Да еще форму добывал по всему Парижу, наконец в русской книжной лавке, на рю Винэз, по случаю купил.



* * *

Сливочное масло, оказывается, нужно в умывальном тазу до белого каления растирать. Пестик? Искал, искал, нашел в хозяйском чулане старую детскую кеглю — сойдет. Записку развернул, сел за работу.

Первое. Снял пиджак. Два часа творог сквозь решето протирал… Жилет насквозь измазал — спрошу в русской аптеке, чем творог выводят.

Второе. Снял жилет. Масло по умывальному тазу бегает, а я за ним с кеглей. Целый час бегал, всю краску с кегли в масло стер… Сойдет! Дышу,

как грузовик. Сорочка в масле, глаза, как у загнанного кабана.

Третье. Снял рубашку. Полтора часа месил творог с желтками и сахарной пудрой. Рекомендовал бы это занятие для английских каторжных тюрем!

Четвертое. Снимать с себя больше нечего… Смешал творожную слякоть с маслом и сливками. Опять месил! Перемешивал!.. Кто этот рецепт выдумал, дай ему Бог, чтобы его на том свете так месили…

Вымачивал цукаты в роме и для поддержания сил ром выпил. Не алкоголики же они, эти самые цукаты. Полежали минуту — и будет!

Словом, что рассказывать… Сырная пасха вышла такая, что хоть пальчики оближи. Я их действительно и облизал, когда к вечеру работу кончил.

Жена пришла, попробовала и в лоб меня поцеловала:

— Видишь, Васенька! Вот ты мужчина, а с женским делом отлично справился. Не так уж легко женщиной быть, как ты полагал…

Форму вымыла. Стряпню мою в нее выложила, пирамиду перевернула острием в кастрюлю, а сверху на дощечку полный комплект «Архива

русской революции» для тяжести положила.

* * *

Одно мне только обидно: приходили знакомые — ели, консьержке кусок дали — ела, родственникам послали — ели. И все хвалили жену… Да как хвалили! Такого успеха, думаю, и Шаляпин никогда не имел. А она все похвалы и восторги с сияющим лицом принимала и хоть бы словом обо мне обмолвилась!.. Справедливо ли это?

Вот подите ж. Двадцать пять лет с женщиной живешь и только на склоне дней по такому, можно сказать, мизерному поводу узнаешь, до чего ее авторское самолюбие заело…

⟨***1925***⟩



Пасхальный визит

Квартира возле Porta nomentana. Выше учительницы, выше штопальщика-портного, даже выше двух синьор, работниц с кустарной фабрики плетеной мебели. На что уж бедные синьоры, но Варвара Петровна умудрилась еще выше поселиться, рядом с голубями.

Из кухни окно в бездонную коробку двора — смотреть жутко. Будто и не Рим, а какое-нибудь нью-йоркское захолустье. Изо всех щелей точно в трубу тянется кверху чад жареного луку, томатные ароматы, переливающийся из окна в окно гул перебранки и приветствий. Веревки — вдоль стен вниз и поперек из ниши в нишу. Одни для корзин, куда голосистый поставщик молока и овощей положит, что нужно, — не подыматься же ему под небеса; на других, слабо надуваясь, сохнет разноцветное тряпье — словно вымпелы на адмиральском судне в праздничный день. Зато окно из спаленки на вольный простор. Глубоко внизу под узеньким балконом кудрявые купы каменных дубов, эвкалипты и с ранней весны неустанно цветущие мимозы — канареечный, нежный дымок. Темный, вечно закрытый сад

туго разросся между каменными стенами — ноге никогда его не коснуться, но глазам отрада…

Варвара Петровна не первый год в Риме. Еще до войны попала с мужем-художником на Капри. С золотой медалью укатил он стипендиатом Петербургской Академии художеств в Италию, в апельсиновое царство, два года протосковал, щи варил и программное полотно с лодочниками в красных беретах писал… Простудился, слег, да там, на Капри, и глаза закрыл. А Варвара Петровна переехала в Рим с мальчиком, с крошечной дочкой, с грудой запыленных этюдов и горой неизбывных забот.

Потом началась война. Куда уедешь? Так и застряла Варвара Петровна с детьми в Италии и стала кое-как налаживать жизнь.

Этюды по багетным лавкам рассовала и принялась вплотную за работу — надо же детей подымать.

Уж так повелось: куда судьба русскую женщину не забросит, всюду она извернется, силу в себе такую найдет, о которой она дома, пока скатерть-самобранка под рукой была, и не знала.

* * *

Трудно было вначале. Так трудно, что лучше и не вспоминать… Работала она сестрой в местном госпитале, к детям только в свободные часы прибегала. Но спасибо добрым соседям — заботились они о ее детях, как о своих. А потом, после войны, страна ожила, жить стало всем легче.

Вспомнила Варвара Петровна свое старое рукоделье, завела через отельных портье знакомства и стала на продажу расшивать платки, платья и шарфы павлиньими русскими узорами…

Мальчик как-то незаметно от рук отбился. По-русски говорить не любил. Какой разговор и с кем? В школе, на базаре и в лавках только итальянские звонкие слова в ушах и звучат. Вечно в своей суете толокся: то старые марки перепродавал и обменивал, сбывал букинистам оставшиеся после отца книги, покупал в уличных ларях лотерейные билеты со счастливыми номерами… Домой прибегал на минутку, глотал макароны, уроки учил как-то по-птичьи, на ходу, и опять на улицу. Впрочем, учился неплохо и матери не был в тягость.

Только младшая дочка, шестилетний тихий гномик Нина, и была утехой. Мать вышивает, а

девочка пестрые лоскутки перебирает и поет на итальянский мотив русскую песенку — слова от матери слышала:

Таня пшенушку полола,

Черный куколь выбирала…

— Мама, что такое куколь?

— Не знаю, котик.

— Ну, какая ты. Русская же песня, а ты не знаешь.

Потом раскроет свою старенькую русскую хрестоматию и начнет — в который уже раз! — перелистывать. Читать Нина еще не умеет. Буквы чужие, в итальянских газетах совсем другие, но картинки и без букв понятны. Вот зима, на еловых лапах густая вата: это снег. Никогда не видела, но, должно быть, очень интересно. А это березка. На Палатинском холме тоже есть березка, Нина видала. Белый-белый ствол, и весной желтые червячки-сережки дождем висят… А вот и любимая картинка: «Генерал Топтыгин». Это так медведя в России называют. Сидит в санях — это такая «карецца»[1] без колес, — развалился… Лошади испугались (еще бы!!) и мчатся как

[1] Примечания: 1

Коляска *(ит.).*

сумасшедшие. Нина вздыхает. Светлые волосы, такого же цвета, как ее бледные восковые щечки, спустились на глаза…


Съ праздникомъ
Св. Пасхи.
8015/3

— Мама, смотритель очень испугался? Что прикажете, генерал, ризотто с пармезаном или омаров? Или, может быть, самовар поставить? А медведь на него — р-р-р! Правда, мама?

Мать все вышивает, отвечает невпопад, а то нитку перекусит и в окно устало смотрит. С утра до вечера такие красивые штучки она вышивает, думает Нина, почему не для себя, почему не для Нины? Ни одного такого чудесного платья у них нет…

Девочка закрывает книжку, берет маленькую игрушечную метлу и старательно подметает пол: ишь сколько ниточек! Двадцать раз в день метешь — не помогает.

* * *

Однажды утром Нина проснулась, взглянула на стул перед диваном: сюрприз… белое шелковое платьице, канареечная лента. О! Сегодня ведь праздник, русская Пасха, как же она забыла… Ведь вчера она сама яйца заворачивала в пестрые шелковые тряпочки, помогала красить. А мать сладкое тесто месила и снесла вниз булочнику, синьору Леонарди, чтобы запек.

Она быстро оделась и с лентой в руках побежала в столовую. Та-та-та! Как чисто! На столе

мимоза и два розовых тюльпана. Кулич! Какое смешное и милое слово… И яйца, веселые и пестренькие, ну разве можно их есть? Жалко ведь…

Варвара Петровна поставила дочку на табуретку:

— Сама оделась? Вот умница… Христос воскресе, Ниночка!

— А как надо отвечать? Я уже забыла…

— Воистину воскресе…

— Во-ис-ти-ну!

И поцеловались они не три, а пять раз взасос. Так уж случилось.

Нина повертелась по комнате. Пол чистый, подметать не надо. И вспомнила:

— Ты ведь сегодня не вышиваешь?

— Кто же сегодня вышивает?..

— Вот и отлично. Значит, мы пойдем в Зоологический сад. Ты ведь обещала. Да?

— Пойдем, Ниночка. Давай только я ленту завяжу, а то ты так в руке ее и понесешь.

Пили кофе с куличом. Нина молчала и о чем-то своем думала. Когда уж совсем собрались уходить, она подошла к матери и попросила:

— Мама, можно мне четыре яйца в сумочку? Я выберу с трещиной. И кулича кусочек. Только потолще, хорошо?

— Возьми, конечно.

Варвара Петровна удивилась: никогда девочка не просит… ест, как цыпленок, всегда упрашивать надо. И вдруг — четыре яйца и кулич… Фантазия!

* * *

Варвара Петровна быстро шла за дочкой по горбатой, золотистой от песка дорожке. Ишь как бежит! Куда это она?

Девочка, не останавливаясь, наскоро поздоровалась по-итальянски с верблюдом:

— Добрый день, синьор, как поживаете?

Со всеми зверями она разговаривала только по-итальянски — по-русски ведь они не понимают.

За поворотом, на высокой желтой скале, окаймленной густой синькой римского неба, стоял тигр. Полосатый злодей, как и львы, жил не в клетке, а на свободном клочке земли. С дорожки рва не было видно, и люди, впервые попадавшие в сад, невольно вздрагивали и останавливались: тигр на свободе!

Нина и с тигром поздоровалась. Но наглый зверь даже и головы не повернул. Через ров не перелетишь, а то бы он… поздоровался!

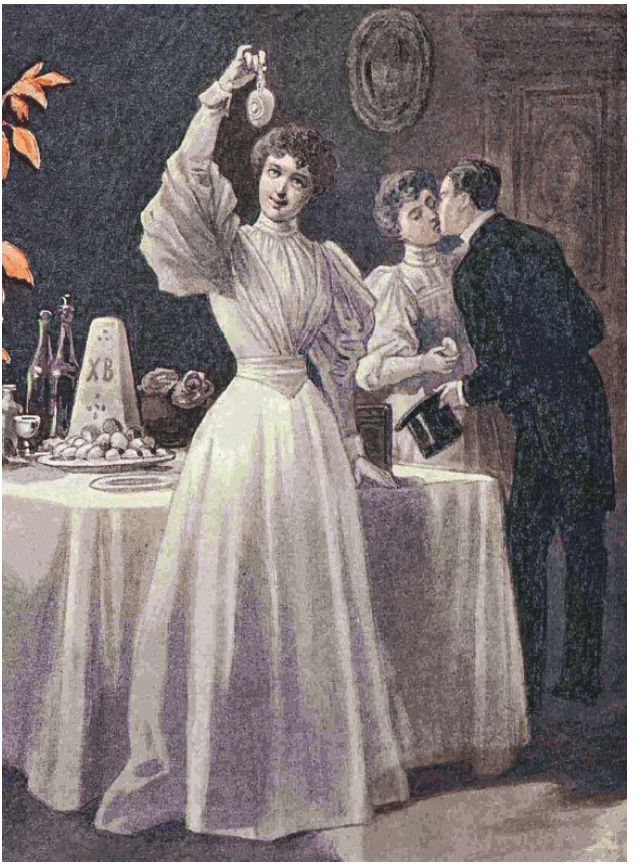
И вот внизу, под пальмовым наметом, Нина

остановилась у клетки, в которой томился бурый медведь. Остановилась и сказала по-русски — медведь ведь русский был:

— Здравствуй, здравствуй… Скучаешь? А я тебе поесть принесла. Потерпи, потерпи… Вкусно! Вот увидишь, как вкусно…

Она аккуратно облупила одно за другим крашеные яйца. Зверь встал на задние лапы и приник носом к железным прутьям. Нина положила на деревянную лопатку яйцо. Медведь смахнул его лапой в пасть, съел и радостно заурчал.

— Еще?


XB

Съел и второе, и третье, и четвертое. Куличом закусил и приложил лапу ко лбу, точно под козырек взял. Это он всегда делал, когда был чем-нибудь очень доволен.

Нина в ответ на доброе приветствие зверя показала ему пустую сумочку и ответила странным русским словом, которое ей мать сегодня утром подсказала:

«Воистину, воистину!..»

Должно быть, это то же самое, что «на здоровье!»...

Варвара Петровна опустилась на скамью и закрыла глаза. Ну вот, только этого недоставало... Слезы... «Все съел, Ниночка? Вот и отлично!»

Девочка теребила ее за рукав и весело тараторила:

— Конечно отлично. Я так и думала, что ты не будешь сердиться. Он же русский, понимаешь... Мне сторож давно уже рассказал, что его прислали с Урала еще до войны. Ему очень скучно, никто его не понимает. Тигра вон как хорошо устроили, а медведя в клетку. За что? И он чистый, правда, мама? Видишь, он аккуратно съел, ни одной крошки не рассорил. Не то что мартышка какая-нибудь... До свиданья, синьор Топтыгин. До свиданья!

Она взяла мать за руку и поскакала по дорожке мимо жирных, матово-сизых агав к пантерам; там маленькие детеныши так смешно в прятки играют, надо насмотреться, а то вырастут и будут, как маятники, из угла в угол шагать и через голый ствол прыгать.

1926, март. Париж

